МУИН БСИСУ

С Палестиной в сердце



МУИН БСИСУ

С Палестиной в сердце





Уважаемой,
Надежде Ивановне,
в память о встрече
с жильцами общежития
№ 118 г. Тобольска
24/IV-86г.

-445-







МОСКВА
РАДУГА
1983

МУИН БСИСУ

С Палестиной в сердце

СТИХИ

Перевод с арабского

Вступительное слово

АНАТОЛИЯ СОФРОНОВА



Составление И. Ермакова

Редактор А. Ибрагимов

Бсису М.

Б-86 С Палестиной в сердце: Избранные стихи./ Пер. с араб.; составл. И. Ермакова.— М.: Радуга, 1983.—296 с.

Это первый большой сборник крупнейшего современного палестинского поэта на русском языке. В него вошли избранные стихи разных лет, воспевающие героическую борьбу арабского народа Палестины. Поэзия Муина Бсису полна яркой образности, смелых ассоциаций, придающих его стихам разящую публицистическую силу.

Все произведения, вошедшие в сборник, кроме обозначенных в содержании знаком **, опубликованы на языке оригинала до 1973 г.

Б $\frac{4703000000-534}{030(01)-83}$ 157-83

Друг мой и брат...

Друг мой и брат! Где бы ты ни был, мы рядом... Сквозь вихри снега я вижу твой профиль, поднятый к каменному Маяковскому... В грохоте столицы слышу твой клокочущий голос... Среди горьких, жарких полынных ветров моего родного края вспоминаю твою, как нож, острую ладонь, протянутую словно бы в клятве над куском донского хлеба... Где бы я ни был, мы рядом. И когда в телефонной трубке я слышу знакомое, ликующее, рокочущее, как басовая струна: «Анатолий, как дела?.. Я в Москве!» — меня снова наполняет та, незабываемая с войны и ни с какой другой несравнимая, радость — друг вернулся с фронта! Мы снова рядом!

Я вспоминаю: Москва, вечер, снег за окном... Мутный свет ламп, с трудом пробивающийся сквозь завесу табачного дыма. Я сижу в университетской аудитории с молодыми палестинцами. Светятся улыбки, звучит смех, нет-нет да и мелькнет в глазах печаль. Диапазон беседы необычайно широк: Москва и несхожесть человеческих судеб, выбор жизненного пути и Бейрут, борьба с сионизмом и методика изучения русского языка, новые друзья и особенности поэтического перевода. Мы говорим о поэзии, вспоминаем строки любимых поэтов, и тогда я спрашиваю, знают ли они Муина Бсису. Ответ следует незамедлительно: «Еще бы! Муин Бсису — поэт палестинской Революции!»

Для этих юношей и девушек он был и остается частью их жизни, неотъемлемой частью их Палести-

ны, их Революции, их борьбы и воспоминаний о Родине, которую они ни разу не видели. Он для них тот самый поэт, каким был для нас Маяковский в далекие, незабываемые двадцатые годы. Маяковский олицетворял собой новую Россию — разрушающую и созидающую, гневную и радостную. Для нас он был знаменем новой жизни, и мы шли за ним. Стихи его не заучивали, их вдыхали — одним глотком, как воздух. В ту пору я работал на заводе «Ростсельмаш». Здесь была создана литературная группа. Писали мы о том, что видели, что строили и чем жили. Мы многого тогда еще не знали и не разбирались в тонкостях поэтических направлений, но кто такой Маяковский, мы хорошо знали. Мы следовали за ним, подражали ему. Писали плакаты и сочиняли лозунги, которые развешивали в заводской проходной, в цехах, над станками. Нам хотелось работать, как Маяковский. И жить, как он!

Почему я сравниваю Муина Бсису с Маяковским? Потому что он прежде всего поэт-трибун, поэт-гражданин. Потому что его жизнь и поэзия — сгусток боли и ярости, призыв к борьбе, к мужеству, стойкости, призыв к надежде.

У меня за спиной —
чужие знамена,
тюремные окна —
кольца змеи.
Родина,

я — твой, распятый — верю:
снова коснусь ногами земли,
далекой, как солнечный шар,
снова пойду по земле,
с изумленьем
слушая собственный шаг...[1]

В Бейруте мне рассказывали о страшных днях Тель-Заатара. Название этого лагеря палестинских беженцев, долгое время сдерживавшего осаду врагов, облетело весь мир. Оно стало символом мужества, несгибаемого героизма. В самое трудное время, когда были на исходе боеприпасы и вода, когда стон раненых заглушался плачем детей, в лагере звучали стихи Муина Бсису, которые поэт читал защитникам лагеря.

Тель-Заатар был стерт с лица земли сионистами, так же как впоследствии Сабра и Шатилла...

Друг мой и брат! На асфальте каких городов не остались твои следы? Разве есть хоть один город на свете, страна, где тебя не ждали бы друзья? Тебя спрашивают, где твоя Родина, а ты говоришь: «Моя Родина там, где проплывают самые прекрасные облака...» Они плывут над вырубленными оливковыми рощами, над обезлюдевшими деревнями, над толпами беженцев, с ужасом глядящих на бело-голубой флаг со свастикой, причудливо стянувшей концы в шестиконечную

---

[1] Стихи в статье даны в переводе М. Курганцева.— Здесь и далее примечания редактора.

звезду. Они плывут в пылающем небе Палестины, над колючей проволокой концлагерей.

Сколько тебя мучили и пытали! Долгих семь лет. Но ты продолжал повторять: «Коммунизм — это поэзия, а значит — будущее!» Сколько раз тебе предлагали отречься в обмен на свободу?!

Молчание — смерть.
Скажи и умри.
. . . .
Эмиры знают, где правда, где ложь,
а ты, притворяясь немым, бредешь
от тюрьмы до тюрьмы.
Скажешь — умрешь.
Промолчишь — умрешь.
Так скажи — и умри.

Ты знаешь цену измене. Знаешь ты и то, что человек, однажды предавший, навсегда останется предателем и будет обречен жить с вечно опущенной головой... И потому оккупанты слышали от тебя только одно слово —«НЕТ!»...

Друг мой и брат! Я помню, как ты стоял у окна и смотрел на летнюю Москву. На следующий день ты должен был возвращаться в Бейрут. И ты с грустью сказал мне: «Почему так красива Москва, когда я уезжаю?!» Огромная Москва любила тебя, она готова была обнять тебя своими улицами и переулками, на-

бережными и проспектами. Она провожала тебя... Наверное, так же она любила и другого поэта-изгнанника — Назыма Хикмета. Он, как и ты, рисовал на стене тюремной камеры маленький кораблик и на нем мысленно отправлялся туда, куда рвалось его сердце. Сердце Хикмета было с Турцией, твое — с истерзанной Палестиной...

Мы познакомились с Муином Бсису в Дамаске пятнадцать лет назад. Вечером, когда свет фонарей жирными кляксами растекался по раскаленному асфальту, когда улицы заполнялись людскими толпами, а пряные, непривычные ароматы растворялись в ночном воздухе, мы сидели в советском корпункте. «Знакомьтесь, палестинский поэт Муин Бсису...» Передо мной стоял молодой элегантный человек. Он присел рядом, и мы разговорились. Оказалось, что здесь, в Дамаске, он делает доклад о творчестве Маяковского и один из его советских друзей перевел для него опубликованные в «Огоньке» статьи о творчестве поэта. Он говорил мне о том, что они помогли ему по-новому взглянуть на Маяковского — поэта и человека. Мы говорили долго. Постепенно разговор перешел на современную поэзию... Эта встреча стала началом нашей дружбы.

Потом были Каир, Москва, Ташкент, Дели, Алма-Ата, Манила. Была встреча в Бейруте в кругу семьи Муина, его друзей... Вновь мы встретились в зимней, заснеженной Москве.

Мы ждали его в аэропорту. Он вырос из снежной

пелены неожиданно. Нахохлившийся, как большая птица, старающийся спрятаться от холода в складках широкого серого пальто, какой-то неприютный, растерянный. И только усталые и в то же время пронзительные глаза, как всегда, смотрели в упор... Тепло сердец. К сожалению, эти слова становятся штампом, мы не замечаем смысла, заложенного в них, но в этот вечер поэта действительно согрело тепло людских сердец. Боль и грусть наполняли его сердце, но в горьких складках у рта таилась такая беззащитная, милая улыбка, какую можно увидеть только у детей. Сколько раз его хотели сломить, сколько раз судьба готовила ему тяжелые испытания, но сердце его не ожесточилось, а напротив — распахнулось для людей. Страницы блокадного дневника Тани Савичевой для него так же близки, как горе палестинских вдов и сирот, оковы греческих патриотов так же тяжелы, как и кованые ботинки оккупантов, грохочущие по улицам родной Газы. Жизнь для Муина — борьба и поэзия, а они в свою очередь синонимы любви к людям, к Родине, к женщине и матери...

Муин Бсису родился в 1930 году в Газе, древнем палестинском городе на берегу Средиземного моря. Здесь он сказал первые слова и написал первые стихи, которые читал бродячим сказителям, преподавшим ему основы древнего искусства стихосложения. Азы политической борьбы он получил в Каире, где обучался в университете и активно участвовал в движении со-

противления английским колонизаторам.

Однажды ему поручили встретиться с каирскими рабочими-печатниками. На этой встрече он прочитал свои стихи, и каково же было его удивление и радость, когда через несколько дней к нему пришли представители стачечного комитета и сказали, что они решили на свои деньги издать книгу его стихов. «Сражение»— так называлась эта книга... Затем был Ирак, где Муин преподавал в школе, и вновь родная Газа. В Газе Муин уже числился в списках неблагонадежных и вскоре был арестован. Тюремные застенки закалили его как борца и как поэта. Я вспоминаю слова, которые он как-то сказал на встрече в редакции «Огонька»: «Поэт живет не в райском саду. Мир для него не прост. Он не лицедействует перед зрителями и не покидает поле боя при любом удобном случае. Палец поэта всегда на спусковом крючке, глаз смотрит в прорезь прицела, и голос его всегда можно различить среди голосов тех, кто находится в передней траншее. Он обязан бить в барабан, пока продолжается революция...»

Слова о назначении поэта не случайны, они выстраданы, проверены собственной судьбой. Поэт должен быть в гуще народа... В тяжелые дни гражданской войны в Ливане, во время кровопролитных боев в Бейруте были и такие, кто брезгливо оттолкнул от себя страдания, бессонные ночи, плач детей и женщин. Именно тогда Муин написал стихотворение «Бейрут

позади». Это щемящее и мужественное произведение, в котором поэт жестко и недвусмысленно высказался в адрес тех, кто предал свой народ...

Да, Муин борется не только с оккупантами-сионистами, но и с теми, кто променял дело палестинцев на жирный кусок, кто торгует собой и своим словом оптом и в розницу.

Кто купит лебединое крыло?
Стихи?
Венок?
Разбитый барабан?
Но вам не холодно
и не тепло.
Вам все равно,
жиреющим рабам.
Но я все жду.
Найдутся смельчаки —
придут и выбьют пыль
из ваших слов,
придут
и вырвут с мясом языки
у изолгавшихся колоколов!

Возможно, именно эти строки или подобные им не давали бойцам проявить душевную слабость, отступить. Стихи Муина Бсису остры, образны, злободневны. Они словно обращены лично к тебе. Но еще большее впечатление получаешь от его поэзии, когда слышишь, как поэт сам читает свои стихи. Ощущение незабываемое...

Он начинает почти шепотом. Прядь спутанных волос упала на лоб. Рука плавно поднимается, словно раздвигая пространство, и зал стихает. Долгая, напряженная тишина. Кажется, что слушатели перестали дышать. Низкий, хриплый голос набирает силу, он подобен орлиному клекоту, налетающим порывам ветра. Взрывчатая гортанная речь плывет над залом, рождая то бурное смятение чувств, то покой, обманом вкрадывающийся в сердце. Голос поднимается все выше, выше... И неожиданно — так, что вздрагиваешь,— обрушивается на твои плечи, слова стегают, бьют наотмашь, хочется прикрыть лицо руками, и когда кажется, что больше не выдержишь — лопнет натянутая струна... рука падает вниз. Тишина... Нет сил для привычных аплодисментов, да и уместны ли они здесь?.. А поэт? Он читает дальше, ничуть не заботясь о произведенном впечатлении. И снова слова бьют наотмашь, и снова натягивается струна, вырывая из тебя душу, и — рвется, голос срывается на хриплый стон. А я вдруг понимаю, какие стихи читает Муин:

Господи боже!
Отчизна моя!
Маленький высохший полумесяц...

Неистовый, яростный, бурлящий — таким он запомнился мне в тот вечер. Помню я его и ироничным, когда в двух словах рождался образ, который повергал

противника либо в восхищение, либо в смятение, либо... Словом, все зависело от того, кто сидел перед ним. Помню я его в волнении, когда он размышлял о судьбах людей, о радости любви, о печали отверженности, о том, как страшно терять друзей в бою, а еще страшнее — в жизни...

Сталкиваясь со сложными проблемами, когда клубок противоречий напоминал гордиев узел, он всегда находит единственно правильное решение. Его подсказывает сердце поэта, разум политика и опытного организатора. Именно поэтому ему и было поручено возглавить арабское издание журнала «Лотос».

«То, что простительно для читателя, для поэта — непозволительная роскошь. Я имею в виду жонглирование идеями — может быть, так попробовать, а может, так... Читатель сеет сомнение у себя в сердце, а поэт — у миллионов. Даже женщину, которая торгует собой ради заработка, можно понять, но поэта, который торгует идеями?!»— эти слова Муина Бсису я хорошо помню.

В арабских странах существует негласный закон: если человек возвел крышу над своей головой в одной из них, он автоматически считается гражданином данной страны. Я видел, как живут палестинские беженцы в Ливане. Вместе с коренными жителями трудятся они на полях страны, помогают друг другу, живут одной семьей, но... у них нет «крыши над головой». Один из наших друзей так объяснил это: «Палестинцы не

принимают гражданство ни одной страны, потому что считают, что у них есть свое государство, куда они обязательно вернутся...»

Друг мой и брат! Я не забыл твоих слов о том, что когда-нибудь ты обязательно пригласишь меня в свой дом в Газе и наконец-то сможешь показать мне ваши прекрасные закаты. Верю, что так оно и будет! Знаю, что, где бы ты ни был, ты чутко прислушиваешься и слышишь, как бьется сердце Газы — твое сердце.

...кричит
стена
старого дома,
которая тысячу раз умирала
и все же стоит!

Анатолий Софронов



Им не пройти

— Хоть один да пройдет...
— Врешь!
Никому не пройти.
Ложь!
Там все войско поляжет сплошь.

Перехлестнута шея
петлею пеньковой...
Лучше смерть,
чем оковы!

— Но пули прошли!
По тому же пути
и солдаты смогут пройти.

— Их согнали с родной земли,
чтоб они проливали пот на чужбине,
пот и кровь. Убивают их —
и они убивают, не зная сами,
когда возвратятся, к смерти готовясь
ежеминутно. Черная повязь —
на глазах, и они не видят

2-238

ни Канала, ни деревень,
дотла сжигаемых что ни день.
Что ни день, кошмар наяву.
А ты закопал свой голос во рву!
Встань, крестьянин, у них на пути.
Не то зарежут тебя серпом,
тобой же отточенным,— на холме,
где колосится
твоя пшеница.
Они родимый твой край разорят.
Лживым посулам их пушек не верь:
они не маслинами начинены,
не апельсинами начинены,
цепи и плети — вот их заряд.
К чему судьбу по ладони читать?!
На лицах у них — приглядись — печать
имперской несправедливости.
Такое пятно — не вывести!

Сегодня они ворвались в Асдуд*,
творят свой жестокий суд.
Дельцами, которые хуже проказы,
распроданы улочки Газы.
Но те из нас, что останутся живы,
увидят в конце концов:

* Здесь и далее см. примечания в конце книги.

этих охотников до поживы
прикончат, как бешеных псов.

Ах, если б не они,
Нахиль,
мой ручеек,—
я с охапками лилий
к тебе бы примчался вмиг,
и вырос бы мой Тауфик
возле твоей Рахили.

1948

Битва

Возьми мое ружье, товарищ мой.
Оно в крови, но — видишь — я живой!
Смотри, как губы сжаты,— я живой!
Как веки сомкнуты — я здесь, с тобой!
Встань и сразись с врагами как герой!

Возьми ружье — и защити Канал,
Бей в барабан — чтоб весь народ восстал.
Пусть голос твой грохочет, словно вал,

Обрушиваясь на подножье скал:
«Бессмертен тот, кто в этой битве пал!»

Настал великий день, самой судьбой
Назначенный. Идет жестокий бой.
Пускай падешь — все тот же огневой
Вздыматься будет флаг над головой
У тех, кто шел в сраженье за тобой.

1951

Осажденный город

Волны звездам о Родине пленной кричат.
Ты стоишь, горемыка, у запертых врат.
Не откроются — тщетно стучишься ты, брат.
Разбудите же тех, что в развалинах спят:
Обирает ворье все могилы подряд.

От огней наших мук скоро станет светло,
Ночь, пока еще юная, сморщит чело —
Не уйдет она, время еще не пришло.
Демон голову спрятать спешит под крыло.
Время с мраком покончить еще не пришло.

Над песками бесплодными встанет заря.
И заплещется море, глубинно горя.
Враг в победе своей усомнился не зря.
«Позабыть ли пустыню,— промолвит заря,—
В плодоносный оазис тропу проторя?»

Саранча ли созревшее поле пожрет —
Или щедрый оно урожай принесет?
Ночь покров за покровом для города ткет.
Затерялась в лощинах река-скороход,
В мутных водах она чей-то посох несет.

О красавица Газа, удел твой жесток.
Просит каплю воды тот, кто кровью истек,
Преступив униженья последний порог.
Неужели, народ, ты мечту не сберег
И судьбу твою пишет на спинах батог?

Что на спинах написано кровью, рабы?
Кто сказал мне, что вы испугались борьбы,
Что недвижен на отмели парус судьбы?
Поднимите с земли заклейменные лбы
И свой гимн боевой затяните, рабы!

1951

Чья это улица?

Чья это улица? Кому идти по ней?
Нам — или тем, чья армия сильней?

Изгнали тех, кто из своих сердец
Здесь строил и лачугу, и дворец.

Их голоса мне больше не слышны —
Их заглушил железный шум войны.

Я счастлив, что детей не породил —
Не заполнял зияющих могил.

Да есть ли тут хоть кто-нибудь живой?
Лишь только бродит призрак-часовой.

Окликнет тень убитого порой:
«Эй! Кто идет? Не приближайся! Стой!»

И призрачных солдат проходит строй...
Но улица — моя, и город — мой!

В волнах огня, рожденного войной,
Какой мы урожай пожнем с тобой?

История

Посвящается совместной борьбе арабов
и евреев Израиля

Скован твой род железом, песнью скован мой род —
два голоса алой свободы в стране, где нету свобод.
Два голоса ввысь взмывают одной могучей волной
над лодкой, что погибает средь кипени водяной.
Две пары оков брящают, раня две пары ног,
два берега замыкают один бурлящий поток.
Твердыню зла озаряют два факела, две свечи,
два гневных взгляда пылают в непроглядной ночи.
Два узника изнывают, безвинно осуждены,
два пленника вспоминают о ветерке весны.
О, пара цветов на ветке окаменевшей тьмы,
две птицы в кровавой клетке, два сердца в тисках тюрьмы!
Две раны чуть прикрывает грязной тряпки лоскут,
две пары плеч обагряет один безжалостный кнут.
Братские наши народы на щедрой этой земле
иссыхают, как всходы на бесплодной скале.

24

Два близнеца, две розы, две лилии, два луча —
Тучей висит над вами вечная тень меча!

1952

На пути в камеру

Товарищ, ты слышишь — команды звучат,
гремят сапоги и приклады,—
в тюремный, в кандальный, в застеночный ад
меня угоняют солдаты.

До самого дна перерыли мой дом
ночные незваные гости,
и мать и отца разбудили пинком,
прощупали кожу и кости.

А что разыскали — лишь несколько книг,
укрытых под ветхой одеждой...
Уводят... Но вижу, что матери лик
мой путь освещает надеждой.

Но слышу, как малые братья кричат,
и в крике их гнев различаю.
Но вижу — соседи угрюмо молчат:
о чем их молчание — знаю.

У каждого где-нибудь сын или брат
в неволе томится иль сгинул...
И я оттолкнул озверевших солдат
и руку плененную вскинул:

— Не плачьте! Дождемся счастливого дня —
вернусь не один, а с друзьями.
Я армию вижу — и вижу вождя,
я вижу победы сиянье!

Я в стенах бетонных средь сотен друзей...
От каждого рукопожатья
становятся души сильней и сильней —
так, значит, мы выживем, братья!

Пускай наши руки железо грызет,
пусть плети гуляют по телу...
Мы преданы жизни, победа — грядет,

а смерти мы скажем, коль раньше придет,
что служим бессмертному делу!

1955

Третья река Ирака

Я тебя не увижу. Встреча не состоится.
Отменены все рейсы. Все пути перекрыты.
Свободны только дороги в тюрьму и в могилу.

Ты меня не услышишь. Радио и парламент,
печатный станок и нивы, минареты, заводы —
у тех, кто заткнул мне глотку и отнял силу.

Писем ты не получишь. Нет ни чернил, ни марок.
Здесь посылают пули — одну за другой, до срока.
Здесь ничего не боятся, кроме взглядов и песен.

Будешь по карте блуждать, в протоколах рыться —
искать мое имя. Поздно. Пустое дело.
На карте — одни столицы. Адрес мой неизвестен.

Я тебя не увижу. Снега потекут по склонам.
Тигр и Евфрат разольются. Две реки. Есть и третья.
Третья река Ирака. На карте о ней — ни слова.

Она течет от бараков Нукрат Сальмана*.
Виселицы — паруса. Тюрьмы — притоки.
Отсюда взываю к братьям снова и снова.

1955

Письмо к матери

Мать, я в неволе, но ты считай
сыновьями моих друзей.
Те, кто дом наш родной спалил,
приютили меня в тюрьме.
Сквозь решетку я вижу их,
автомат бы, гранату мне.
Армий будущих роты, полки
бродят в серой яме двора.
Как один, мы все поклялись
своему народу служить,
Высекать священный огонь
ненависти из наших оков,

Чтоб от скорби избавить вас!
Мать, немыслимо тяжко нам,
Вместе с потом сочится кровь.
Часто думаю об отце:
Он борьбу за наши права
начинал один, но за ним
Потянулись те, кто, отбросив страх,
в жестокой борьбе мужал.
Правду всей нашей жизни, мать,
он писал, как молотом бил.
Не печатали — не беда,
час придет — его издадут
Наша гордость, и кровь, и гнев,—
так всем людям нашим скажи!
Мать! Про всех, кто томится здесь,
кто не знает, будет ли жив,
Не забудь и свято храни
творенья отца моего:
В них рассказ о нашей судьбе,
для врага они бомб страшней.
Враг лютует, и льется кровь,
но мы скоро дадим отпор.
Эта вера сегодня, мать,
зажигает наши сердца.
Ни посулом, ни жирным куском
не обманут, не купят нас!
Мать, не все вернутся домой —
караульным здесь смерть стоит.

Каждой хижине расскажи
о каждом, кто с нами был.
Мать, твой сын в кандалах,
но знай, что рядом друзья:
Пусть сердце одно у меня,
у народа сердец — миллион!
Не останешься ты нагишом:
знамена укроют тебя.
Не придется тебе голодать:
свет грядущего — тот же хлеб.
Вспомни, сколько вас, матерей,
рождают, растят сыновей,
Чтоб потом с улыбкой любви
отдавать их пожару борьбы!

1955

Руки прочь от Канала

Сухейр,
я в изгнании
поезду пою,
пою станциям,
каждому толчку состава,
и звенят голоса друзей,

всплывает в глазах Газа,
встает, словно лес
из ветров и молний,
блистают зарницы слов,
строки стальные
бьют в кованую дверь.
Стучи, Каир!
Стучи, моя Газа!
Стучите, братья,
чтоб наши ладони слились в рукопожатье,
чтоб осветились вагонные окна
звездами глаз,
взорами тех,
кто возвращается на баррикады борьбы
в моей стране и повсюду.

Сколько я вынес мучений,
чтобы сбылся заветный мой сон
и смог я сыграть свою роль
на подмостках борьбы!
Я пишу о Канале —
и страшусь шороха пера
и шагов тюремщика по бумаге.
А в самом сердце Каира —
громовой раскат типографских станков,
громовые раскаты слова.
Слава словам,

ставшим гроздьями света
под каламом поэта!
Сколько я вынес мучений
под железным небом,
во тьме полудня!
О небо Каира,
победное небо
с кровавыми звездами,
что сияют и днем!
Звездой расцветает каждая пуля,
выпущенная со склона ат-Тель аль-Кабир
рукой феллаха убитого,
еще не окоченевшей на склоне ат-Тель аль-Кабир.
Звездой расцветает каждая капля пота
на лице феллаха, прорывшего Канал,
звездой расцветает каждая капля крови,
струящейся из источника на его челе,
чистой крови, стекающей в воды Канала.
Звездою становится каждый феллах и рабочий
в Ираке,
вопреки всем бесчинствам Нури Саида*.
Звездою становится каждый повстанец
в Алжире,
в звезду превращается каждый из сынов мира
на Дальнем Востоке,
звездою сияет каждый труженик
в стране Ленина,
каждый рабочий на крохотном полустанке,

развернувший крылья призыва:
«Руки прочь от Канала!»
Звездами стали сердца Багдаша* и Абу Халеда*,
в звезду превращается сердце борющегося Омана,
звезды струятся из каждой неперевязанной раны
беженцев моей страны.
Звездой расцветает улыбка твоя,
Сухейр,
о Сухейр!
Захватчиков осатаневшие орды
сотрясают грохотом землю,
пиратские их армады
бороздят наши воды.
Гонимая ветром грабежа и добычи,
несомая смерчем ядовитым,
армада рванулась к великому валу,
стремясь запугать великий народ
хриплым воем железных стервятников,
надрывающихся под тяжестью бомб,
стремясь забросать великий народ
ошметками грязи,—
та самая злая армада,
что некогда Индию поработила
и полчищем саранчи
вгрызалась в тело ее, пила ее соки;
армада, выбелившая равнины
костями тружеников-братьев;
армада, что угоняла народы

на невольничьи рынки, за океан,
что надела ярмо на прадедов Поля Робсона,
дрожавших, как ветки в грозу,
не сумевших
разглядеть за пылающими крестами расистов
звезду Спартака!
Эта злая армада
осколками своих бомб
высекла пламя
из чистой крови героев,
пламя, сверкающее на волнах и песках Александрии,
брызжущее из камней Бейрута,
пламя, взывающее:
«Руки прочь от Канала,
да не осквернят его мирную воду
якоря пиратских флотилий!»
Прошли времена трусливого Тауфика,
времена де Голля,
Монтгомери* и пробковых шлемов!
Прошли времена Нури Мандриса*,
времена охотников за головами,
времена убийц и кровопийц,
времена хранителей кладов пиратских!
Прошли времена Даллеса —
этот последыш заокеанских чудовищ
сгинул навек без следа.
Настало Новое время,
время Нового человека,

рожденного на развалинах Дьенбьенфу*,
время веселой зелени новых побегов.
Настало время Бандунга, время надежды,
время хлеба и меда,
время алжирских детей,
время матери-родины,
время стягов Араби-паши*,
принесенных на крыльях голубки,
время джунглей малайских,
сверкающих вспышками выстрелов
и отблесками грядущих надежд!

Раскрывая объятья,
ждет твое время
и зовет тебя, о Сухейр!
Ты больше не будешь играть в тени ружейных стволов,
песню твою не подавит бряцанье оков
и грохот снарядов.
Ты любимой заснешь, невестой проснешься,
в лоне твоем взрастет и окрепнет завязь любви,
а когда истечет девять лун,
ты миру подаришь девочку,
просто девочку —
она сделает первый свой шаг не во мраке палатки,
ее не поранят проволочные колючки,
она вырастет и пойдет широкой дорогой весны.
Палестина — весна и судьба,

знак, начертанный в небе крыльями голубки,
мечта, хранимая руками всего народа.
Раскрывая объятья,
идет твое время
и зовет тебя, о Сухейр!
Новое время грядет,
и я иду в ногу
с великой эпохой.
Всем своим слабостям вопреки,
я сам распрямляю дорогу своей судьбы.
Я зову тебя, о Сухейр,
и ты зовешь меня голосом,
что подобен шелесту крыльев:
«Брат мой!»
О Сухейр, объятья брата раскрыты,
больше года тебя ожидает их пламя.
Каждый раз, когда поезд в ночи прокричит,
словно беженец,
глядящий на темные окна брошенного дома,
каждый раз, когда поезд в ночи простучит,
словно беженец,
стучащий прикладом винтовки
в окна друзей,—
я, как и ты, вскипаю при этом крике и стуке.
Я проклинаю свое бессилье всякий раз,
когда дикие утки приносят мне весть об отчизне.
Этих птиц здесь не видно с апреля —
видно, и утки в беженцев превратились

и на чужбине осели,
хоть радушная родина есть и у них.
Я проклинаю бессилье свое всякий раз,
когда прилетает весть,
пущенная из-за границы
тяжкой рукой, что горло отчизны сдавила,
дымом бесчисленных жертв небо ее затмила,
той рукою из-за границы,
что все еще роется в наших сокровищах,
омытых пóтом и обагренных кровью,
что все еще шарит по концлагерям,
где томятся наши братья и сестры.
Я проклинаю свое бессилие всякий раз,
когда вижу зарницы
дальних сражений.
К воротам Газы
протянулась из-за границы рука,
слышится выстрелов кандальное громыханье,
отзвук его ложится на землю Ирака...
Но зловещему этому эху
не упасть на воды Канала!

Значит, здесь мое поле боя, за стеной из огня,
значит, здесь я питаюсь черствою коркой гнева?
Дороги битвы просторны,
им по нраву любая поступь,
их радуют руки, что строят дружбу.

Дороги битвы пролегли по обрывкам проволоки
колючей,
меж двумя народами,
по земле, орошенной кровью,
пролегли по дрожащему телу врага —
он, издыхая,
выпускает в страхе последние пули.
Иссяк у него провиант, иссякли боеприпасы,
не властен он больше над жизнью и смертью,
ничего у него не осталось,
кроме слюны ядовитой,
которой он брызжет на воду Канала,
на чистую воду моей отчизны.

Знала б ты муки мои, о Сухейр!
Каждое утро пробуждаюсь и вижу,
что безоружна рука моя и бесплодна,—
она расцветет и зазеленеет только в борьбе,
плодоносной станет на поле битвы,
пустив кровавые корни
в почву сраженья.
Знала бы ты муки мои, о Сухейр!
Пробуждаюсь каждое утро,
и в глазах моих — осколки мечты о борьбе.
Мысленно я прохожу по Каиру
под арками вечной весны,
меж стволами братьев-деревьев,

ловлю руки, что свет созидают,
жму руки, что Канал охраняют,
наполняю свой взгляд водою Канала,
наполняю ясными и трепетными тенями
прорывших его феллахов.
А они встречают и принимают,
а они обнимают
бойцов, отстоявших Канал,
чья кровь достойна их славного пота,
сверкающего на груди Канала,
взывающего из глубины Канала:
«Руки прочь от Канала!»

1958

Баррикады

Они ополчились на нас — теперь не время для торга.
Слава Сопротивлению,
высокому знамени стойкости,
алой волне наших кличей, взмывших
над растерзанной улицей,
слава руке, цепями звенящей,
слава руке, насмерть разящей,
слава не отступавшим ни разу!

39

На город мой, Газу,
ночью, сплетенной из жал и клинков,
ринулись сотни вражьих полков.
Ты был, город мой,
сражающейся звездой,
выплавленной из наших оков.
Неслись по пятам полков стаи волков,
а ты был колоссом из колосьев
с руками, подобными двум серпам,
и не терпелось полчищу саранчи
смолоть колосса меж мельничными жерновами.
Ты, Газа, была
вулканом слез, превращавшихся в факелы мести.
О улыбка землетрясений,
запечатленных мечом на устах моего народа!
Газа моя, зеленая лилия,
не спавшая на ложе завоевателя,
не лившая масла в светильник предателя,
ты не из тех, чьи ресницы
служат ковриком для каждого встречного
и поперечного,
кто по локоть в крови возвращается с боен.
Ты ни единого когтя не подарила
концлагерной проволоке,
не целовала бич угнетателя,
словно невольница.
Газа моя!
Я видел: ты ткешь полотно надежды.

ожидая возлюбленного-героя.
Из собственной крови ты выткала парус,
бороздящий моря пожарищ,—
не опалит огонь его, не растерзает буря,
не осквернят свинцовые плевки винтовок.
Газа моя! Ты знаешь —
горе умолкшей кифаре,
горе онемевшему соловью!
И потому поешь
для героя и для поэта в оковах,
хоть сама изнываешь в цепях,—
письмена твоих вен
превращаются в строчки поэм.

Город мой! Что за дрожь меня сотрясает,
что за буря воспоминаний
бушует во мне —
воспоминаний о битвах и тюрьмах,
героях и подлецах!
Я помню предателей,
которые жадно глотали последние крики казнимых,
смаковали последние миги мучеников
и под конец превратились в чудовищ,
крутящих черные жернова
крови и смерти.
Руки их — удавки душителей,
глаза их — вражеские бойницы,

откуда торчат винтовки,
нацеленные на палатки беженцев,
на дома сынов моего народа.

Сейчас, о мой город, спадет завеса,
скрывающая бойню,
и ты увидешь, как мы сражались —
бойцы бок о бок с вольным ветром —
против когтистого вражьего флага,
который низринулся змеем крылатым
на отчую землю,
ты увидишь, как все мы кровь проливали
за славное имя Гамаля*!
Ты увидешь, как это имя
невиданные чудеса вершило,—
оно было нашим зеленым солнцем
в кромешном мраке,
красной розой в руке моей сестрички,
соловьиной стайкой в ее окне.
А потом пред тобой Порт-Саид предстанет
скалою пламени, лесом рук,
рыцарем из камня.
Мы ему вывели скакуна из стойла рассвета,
всем народом вручили знамя знамен
и с ним заодно
волною лилий
в свинцовую ринулись бурю,

струями свежего ветра
ринулись в пекло боя.
Оковы, язвившие нам запястья,
были голодными пауками,
раскинувшими тенета смерти
на ветвях ураганов,
но мужество наше раскрывалось цветами
из поющих бутонов.
Враг кусал себя до крови перед высокою баррикадой,
а Порт-Саид был винтовкой винтовок
и окопом окопов,
созвездьем из ран, пригвожденным сталью
к челу борца.
О Порт-Саид!
Занимается утро.
Петушиный крик будит пули в ружейных стволах,
будит искры пожарищ,
и солнце вот-вот коснется наших знамен...
О Порт-Саид!
Ты поднял не в одиночку
меч своего высокого духа —
сражается не один мой город,
все народы ему винтовками машут,
клич союзников окаменеть заставляет
свинец, затаившийся в ружьях вражьих,
заставляет огонь их окаменеть,
мгновенно их дым превращается в камень,
колючий, как коготь.

Город мой двинулся на саранчу — и она побежала,
взметнулись стягами улицы города,
влюбленного в жизнь.
О моя Газа, жемчужина меж перламутровых створок,
седое масличное древо пенного вала,
гурия средь окопов,
роза в саду садов,
светило крылатое,
вооруженный цветок!
Кто сказал, что твой рыцарь возлюбленный умер в пути?
Он оседлал скакуна,
облачился в надежный доспех
и метнул свой заветный перстень
в шлем чужака.
Ты ножны, Газа моя,— да не для любого меча,
ты виноградная гроздь — да не для каждого рта,
ты кифара — да не для всякого музыканта,—
ты принадлежишь своему народу,
который печатает шаг вслед за вождем,
не унывающим от поражений, истинно стойким.
Город мой, Газа! Невеста всего народа!
Венцу твоему позавидуют все невесты на свете.
Разные гости к тебе приходили:
пятнистые змеи и белые голуби,
вóроны и соловьи.
Приходили друзья индусы с прялками,
приходили те, на чьих плечах

лежат красные молоты и серпы,—
те, кто не замешивал свой хлеб на крови борцов.
Приходили и те, кто прячет оковы
в шлемах и складках знамен,
в стеклянных плащах,
усеянных лисьими глазами,—
те, кто мечтает о пожарах
и лесах виселиц,
кто жаждет, чтоб ты превратилась
в злачное место, блудилище и воровской притон,
чтоб стала ты, Газа, площадною девкой,
чтоб сердце твое перестало биться за Гамаля,
чтоб задохнулось в грязи знамя твоей борьбы.
Смой с наших век зеленых
сны сеятеля преступлений,
владыки черных шатров,
зажги в засушливом мраке
факелы из колосьев,
разлейся потоками по пескам,
шествуй в кровавом прахе,
вздымая пыльные стяги,
шествуй в помятом шлеме,
с гремящей винтовкой,
с песнями, подобными лопающимся почкам...
Иди вперед, облачась в одеянье
матери своей, светоносной свободы,
иди, мой город, обожженный загаром,
увенчанный цветами победы...

Лети, мой Египет крылатый,
голубкою боевой!
Вперед! Тебя ждет колосс из колосьев,
порождение чрева бури,—
кто из нас поддержит его в напасти,
сам себя от ран защитит...
Пусть соберутся феллахи, привычные к серпу и плугу,
пусть вернется каждый ушедший,
пусть явится ткач и пахарь, беженец и беглец
и голодный странник, ставший пищей дороги,
пусть придут рыбаки, чтобы снова собрать
урожай с онемевших волн.
В нашем небе реют созвездья народов,
сеющих оружие и колосья,—
так обратим же, мои храбрые братья,
наши цепи в цепы!

О братья мои! Щедрая птица жатвы
продолжает реять над проволокой когтистой!
Несмотря на налет саранчи и пепла,
на тысячу и одну бессонную ночь,
я увидел ее цветущие крылья
поутру, когда хлынули света потоки
хмельными струями дерзких мечтаний...
Порт-Саид, колосс египетского героизма
и сирийской винтовочной стали,
несется в колеснице из колосьев.
Тысяча тысяч таких же колоссов

сплотились вокруг него, воспевая
дворец пшеничный.
Один из них улетел, чтоб проведать
лагерь голодных,
палаточный город средь виселиц мрака,
улетел и вернулся
на крыльях надежды.
Колесница феллаха
у твоего престола, о славный брат мой,
султан справедливый.
Движется шествие в тысячу тысяч свечей,
тысячу тысяч мечей.

Вот что увидела птица надежды,
которой велено было лететь поутру
к продымленному шатру
и об увиденном рассказать феллаху...
О мои братья!
Направим стопы
по зыбкой дороге:
наша судьба нелегка,
припасы наши скудны
и мало в светильнике масла,
но издалека
к нам уже мчится белой голубкою гавань,
в клюве держа светоносную ветвь.

1956

Газа в полночь оккупации

Когда вечерами меж стен тюрьмы
топчусь, теряя времени счет,
и ночь среди звезд бредет
по небу, которого мне не видно,
сердце мое раскрывает крыла
и летит к тебе, Газа, выжженная дотла
той адской ночью,
и я снова вижу воочью,
как белыми пятнами прокламаций
вздымаются стены,
раненные навылет свинцом...
О, стены страданья!
Снова слышу, как обрывается стук
пробитых сердец.
Окно нахожу, из которого я тогда
увидел, какая в Газу вломилась беда!
Снова вижу запекшиеся уста
замученных и убитых.
Как кричала в ту ночь душа!
Я был изгнан из дома родного
и пошел по дороге, что вела в никуда...
Споткнется ли сын народа?
Вот он встал и стоит, словно чего-то ждет,
и какой-то подлец ему тут же сребреники сует.
Отвернулся, глазами жалит дорогу —

его увлекла мечта
о мессии, сошедшем с креста...

Газа, кровь моя в тюрьмах не заржавела,
есть и здесь для нее благородное дело:
насылать огонь на дома врага,
разносить призыв боевой по округе.
Газа, терновый венец на челе народа,
верь, мы вернемся, придем
по дороге, расцвеченной дугами радуг,
и свет возвращения будет так ярок,
что рассеет проклятую ночь!

1956

Шахразада и Гамаль Абдель Насер

О царица ночей и владычица сказок,
смотри, Шахразада!
Бич судьбы, Шахрияр, снова входит к тебе
из цветущего сада.
И за светлой мечтой,
и за тонкой вечерней игрой разговора —
вновь то ль меч палача над тобой,

то ли сталь беспощадного взора.
О царица всех сказок, в которых
смешались любовь и обманы,—
кроме самой нехитрой,
где в сердце народа
горящие раны...
Миновала эпоха касыд.
И в руинах печально и тихо.
Лишь одни попугаи
порхают в счастливом саду у халифа.
А Восток — на подъеме.
Восток — как звезда на челе твоем, рыцарь,
страж Египта Гамаль.
Не к нему ль нашим песням и снам
возноситься?
Пусть тоску окровавленных крыльев
забудет свободная птица!
За решетками тюрем,
в жестоких застенках
довольно ей биться!
Пусть любовь моя гордая
песнь воспоет не тоски и тревоги —
песнь любви и зари
и к истоку дорог устремленной дороги,
песнь друзей неразлучных,
колодцев холодных,
гранатов и гроздьев,
песнь феллаха, а в ней —

4–238

незакатное солнце из спелых колосьев!
Пусть ликует в стихах —
слишком много печали мы знали в отчизне! —
соловьиная песнь о святыне любви
и о таинстве жизни.
Пусть над древнею Газой летит моя песнь,
с непогодами споря,
вторя рокоту сердца,
и рокоту ветра,
и рокоту моря.
Там, где дома родного —
взгляни и приникни в бестрепетной вере!—
поцелуями ласточек
вышиты в памяти
окна и двери.
Отчий дом, где в окне
огонек в полусне
еще бьется о стекла...
Кто сказал вам,
что дом наш навек опустел
и погасли в нем окна?
Ты — жемчужина в сердце народа,
воскресшего к песне из ада!
И врагу не дано
твои пеплом развеять сады,
Шахразада!

1956

А голос все слышен

Моя столица в подвесках из белых лилий,
в ожерелье из бутонов росы.
В нее влюблен мой брат Ала.
В городе, где весна
щедра, как рука дающего,
и на каждом дереве апельсины,
мой брат средь ливней и пуль.
Привет тебе от его алой крови,
привет тебе от моего города.
Слава моей столицы — штыки и раны,
ее баррикады — волны, ветры и пламя.
На голове Алы шлем —
алое облако
из огня, из крови,
из железа моих оков, что тянут меня
к неприступным окопам,
где тени штыков и тени трав,
и черные дула — как бодрствующие глаза,
глаза, стерегущие мир.
Я тоскую по стали курка,
по холодку спускового крючка,
по свисту буравящей воздух пули,
по ветру, бьющемуся с захватчиками,—
с ними, что, как мертвецы в саванах,
являются из вселенских гробниц

и распяты, как пугала на ветру,—
по свисту буравящей море бомбы,
по волнам, растущим до облаков
и открывающим могилы
на водной равнине,
по упорству, какое дано защитникам твоим, город.
Ненависть глядит из разбитых окон,
ее лицо в маске из дыма и пламени;
я не вижу пальца на спусковом крючке,
но из дула вырывается смерть
и спасает жизнь,
поражая захватчика.
Орудия, стерегущие вселенную,
стреляют голубем в пламя и дым,
ввысь, во вселенную...
А голос все слышен —
голос упорно сражающегося человека,
голос упорно сражающегося города —
он звенит в дыму и руинах,
звенит в стенах комнаты — и стены мы проклинаем,
это взлет мужества с перебитым крылом,
это рука без оружия,
это кровь без раны.
Нам посылает привет пламя твое, Порт-Саид,
но стены встают между нами и этим пламенем —
только они не удержат нас, эти стены.
Смотри: наши тени, как ветры,
несутся к окопам,

взбираются на брустверы,
поднимают оружие,
поражают врагов.
А голос все слышен —
голос упорно сражающегося человека,
он летит сквозь упорно бьющийся город —
и расцветает мужество среди руин, вдоль дорог,
и вспыхивает дыхание в груди мертвых,
и хватает оружие
рука упавшего воина,
и загорается пламя в разбитом окне,
и огненная рука поджигает захватчиков,
и бушуют ветры,
пригвождая захватчиков
к колеям дорог.
А в моем городе,
сотрясаемом бурями,
потрясенном до самых корней,
каждый день — пуля,
каждая ночь — пуля,
земля улиц хватает за ноги наших врагов...
А голос все слышен,
голос упорно сражающегося человека,
он звенит в лагере и на холме,
откликается в шагах мужчин, женщин, детей,
идущих вперед. Привет улыбкам борцов!
Вперед! Привет тебе, рука без оружия!
Вперед! Привет тебе, пуля, дрожащая в стволе

от ненависти к изуверству и зверству!
Вперед! Привет тебе, пуля, попавшая в цель!
Привет тебе, бруствер, поднявшийся над окопом!
Привет тебе, окоп, не защищаемый бруствером!
Привет тебе, бабочка,
порхающая над пауком.
Привет всем, кто встречает рассвет борьбы,
кто сражается вместе с Гамалем,—
примите улыбку привета, примите оружие,
примите улыбку борьбы!

1956

Погибший гонец

Он в темноте, как крылья ветра.
Льется кровь.
Слово смутно, слово щедро.
В нем любовь.
Колокольчики надежды
на руке...
Во тьме, на стене мрака — отпечаток ладони.

Грянул выстрел, плюнул свинцом.
Он упал.
Обнимая землю, беременную концом.
Шаги убийцы заглушила граница,
и вновь вернулся кровоточащий вопрос.

1956

Идол Иерусалимский

Да отсохнет рука моя правая!
Да отвратит свой взор
любимая от меня!
Да позабудут меня и друг и брат!
Да покинет веки мои навеки
дремота,
подобно тому как в жаркой сече
клинок выпадает из рук
у воина бесстрашного,—
если я позабуду на миг,
что на груди у моей
родимой земли
свил гнездо себе
Идол Иерусалимский.
Наша кровь для него —

мед с молоком,
пьет он и сил набирается,
и высиживает своих
чудищ-малюток,
в то время как я возвожу
Стену плача,
черным платом обтягиваю
палатку свою,
тоскую вдали
от родимой земли,
куда мне закрыты пути.

Да отсохнет рука моя правая,
да отвратит от меня
свой певучий взор
мой родной народ,
если я не смогу
проложить себе путь
обнаженным мечом возмездья
к родным виноградникам,
где угнездился
Идол Иерусалимский,
владыка геенны.

1957

Из ночного дневника

На стене моей бессонной ночи
я нарисовал любимый голос
и лилейный ненаглядный облик,
видимый с крутой равнины моря
на песке в бессоннице сумбурной,—
лунный всадник догонял меня.
Я нарисовал любимый голос,
прошептал лелеемое имя...
Словно ветра розовый бутончик
засветился для меня в геенне
одиночества пустынной ночи.

1957

Послушайте меня!

Послушайте меня!
Послушай ты, Отчизна!
Оковы осени — на всех открытьях дня.
Хотел бы сжечь я тень моей нелегкой жизни,
чтоб в полдень не разнежиться в тени.
Тише! Умерьте гром бравурных трубных трелей.
Я — мышь летучая на дереве качелей,

а у причастья — золотой телец.
Молчи! Пусть знамя вознесет творец
Пота́йной бури, молнии пота́йной.
Раскроются объятия креста,
и сердце разомкнется и уста.
И пусть на крыльях ветряных, случайных
летят туда, где есть одно окно,
оно не крещено руками молний,
окно на Родине,— оно черно,
окно, которое меня, наверно, помнит.
Там есть лоза, обвиться вкруг меня
мечтающая. Мне мечтать о том же...
О Родина! Скажи, дождусь ли дня,
когда с ладоней ты своих напоишь
меня глотком грозы и зельем туч?
Собрать бы реки все в застольный кубок —
я захлебнусь, я выплесну себя!
Хочу кричать, а кто-то вслед смеется.

1957

Чаша с уксусом

Люди, кидайте жребий —
кто получит мои одежды
после распятья...

Чаша с уксусом в правой руке
и терновый венец на лбу...
Люди,
вы отпустили Варавву на волю,
а вашего сына
приволокли, чтобы распять
и побить камнями!

Народ мой!
Крикну ли я:
о, не вводи меня в искушенье!
Народ мой!
Пошли испытание сыну — распятьем...
Дай мне глоток из чаши,
я своего пути не миную,
чаши с уксусом не избегну,
венца тернового не отстраню...
Я из кости своей
вырублю гвоздь для креста
и пойду по земле,
семена своей крови роняя...
Если же я не умру —
как ты родишься из сердца моего,
как я рожусь из сердца твоего,
о мой народ!

1957

Нитка, растущая на ветру

Опальные знамена
возвратились
в свои столицы.
Лишь твое, мой край,
изодранное,
изгнанное знамя
скитается по свету.
Им торгуют.
Его сбывают на аукционах
подонкам говорливым
по дешевке.
Эй, крикуны, распухшие от жира!
Хватайте наше знамя,
не стыдитесь!
Берите за бесценок,
за картонный
или фанерный меч
да за облезлый
венок для петушиной головы.
Пусть процветает лысенький петух,
что кукарекает любым наседкам
и спит во всех курятниках земли!
Кому из нас нужна
вся эта рухлядь?

На свалку выкинем
истлевший хворост:
фанерный меч,
венок для петуха.
Никто из нас не станет отдавать
свое зерно
для мельницы, где мелют
бумагу
и словесную труху.
А наше знамя...
От него осталась
лишь ниточка одна.
Но на ветру
она растет и набирает силы.
И снова станет
знаменем твоим,
о Родина!

1957

Колючей проволоке посвящается

О, когда бы змея не вонзала
смертоносное жало
в слово мое;
о, когда бы слово мое,

не рассыпа́лось горсточкой пепла;
о, когда бы слово мое
возносилось над грудой цепей;
о, когда бы причалила к берегам ладонь твоя, словно
лодка,
словно жемчужница, убегающая от моллюска;
о, когда бы рухнула эта ограда
из железных когтей;
о, когда бы, родная земля,
на тебя набрести,
на невинную и первозданную,
словно землетрясеньем рожденную,
набрести — как на парус,
исчезнувший в море
и опять возвращенный тайфуном,—
грудью упал бы тогда на твой меч, о родная земля,
обагрилось бы сердце мое,
и тогда б
я увидел тебя...

1957

Песня с завязанными глазами

Куда волокут луну
с завязанными глазами

мимо столпившихся в небе
облачных крепостей?
Распахиваются ворота,
о чем-то хлопочут тени.
Окна сломаны пыткой.
Дверь пробита ножом.
Рот перекошен криком.
Крик трепещет, как знамя,
падает, словно с древа
и листва, и плоды...

Родина, песня, где ты,
ответь, куда тебя гонят?
Тянется красная нитка
за тобой по земле.
Желтыми зеркалами,
черными зеркалами
мир дробится на части,
бьет меня по лицу.
Ради тебя, отчизна,
я выхожу на приступ.
Ради тебя подставлю
грудь свою под напалм.
Ради тебя таскаю
наручники на запястьях.
Ради тебя, неприкаянный,
всюду чужой брожу.

Хлеб мой замешен на крови
ради тебя, отчизна.
В сердце ты мне вонзилась
огненным острием!

1957

Жандармы

*Сахбе Бербери**

И снова пришли жандармы.
Ударь в городские колокола —
снова пришли жандармы.
Чтоб локти твои к лопаткам загнуть,
снова пришли жандармы.
Грохочут
каменные каблуки.
Снова пришли жандармы.
Улица — сломанная рука.
Снова пришли жандармы.

Разбуди мои строки:
темная вязь —
твой талисман и щит.

Разбуди мои строки —
крылами орла
выпрямятся они.
Молния-птица —
слово мое —
в тихой ладони спит.
Подними раскаленную гроздь!
Выжми огненный сок!

Слышу крик твоего окна —
распинают его.
Стонет, пересыхая, ручей —
пьет взбесившийся волк.
Дерево, стиснув зубы, молчит —
гложет его огонь.
Тонет, захлебываясь, пловец,
смытый волной со скалы...
Втиснули в каменную шинель
город, еле живой.
Кто, переулок, вправит тебе
вывихнутый сустав?
Малую птицу коршун когтит,
капли крови горят
и, прикасаясь к земле, встают
факелами знамен.

1957

5-238

Моей дочери Далии

Как распятый надеется снова
коснуться ногами земли,
далекой, словно солнечный шар,
надеется снова пройти
по земле,
слыша собственный шаг,
надеется снова
к земле прикоснуться
онемевшей стопой,
так я надеюсь под теплым дождем
свидеться снова
с тобой.
Я ладонь твою —
жаркую, нежную молнию,
огненный лепесток —
удержу в руке.

У меня за спиной —
чужие знамена,
тюремные окна —
кольца змеи.
Родина,
я — твой, распятый — верю:
снова коснусь ногами земли,

далекой, как солнечный шар,
снова пойду по земле,
с изумленьем
слушая собственный шаг...

1957

Раны без колоколов

Тем, кто сражается
и не звонит о своих ранах во все колокола

На моей мельнице не намолоть слез.
Хватит уже перемалывать мотыльков, летящих на свет,
хватит перемалывать огоньки свечей!

Хватит сочиться кровью ранам на ладонях —
проклятье утру, зачатому во чреве раны!
Померкло небо,
темно в пути без единой лампады.
В тени облаков наша дорога.
Рваные паруса —
и нет лоскутка для заплаты.
Мы проклинаем ручьи нашего пота.

Дождь моросящий — не ладан курений.
Не наполнятся чаши шелками.

Братья, учитесь жить у корней!
Корни всегда нераздельны,
утоляя свой голод и жажду!

Хватит множить кресты в зеркалах.
Хватит множить глаза на дорогах.
Смотрите на корни — они не поднимут на ветках
знамени своих ран.

Хватит, хватит тебе перемалывать
мотыльков и слезы на мельницах!

1957

Меч к горлу

Если мне к горлу приставят меч,
я на колени не встану,

Если на шею накинут петлю,
пощады просить не стану
И в наступающий верить рассвет,
брат мой, я не устану!
Вот-вот его луч, мелькнув во тьме,
примчится к нашему стану,
Где подрастают наши сыны,
каждый подобен вулкану.

Если ко мне подойдет палач
у тебя на глазах, мой брат,
И прочитает мне приговор —
я буду рад,
Если запомнишь ты навсегда,
как убивал меня этот гад,
Запомнишь меч, лицо палача
и мой последний взгляд...
Стойкость и гордость наша, поверь,
вражью нечисть испепелят!

Ночью с винтовками наперевес
враги приказали ему
За ними идти, и он пошел,
как гордое знамя, в тюрьму.
Его заковали — вдруг яркий свет
прорезал кровавую тьму.

Свет стойкости, мужества, он горел
наперекор всему.
Мы знали теперь, что рассеять мрак
под силу ему одному!

1957

На баррикады!

Карту отчизны из крови моей и оков нарисуйте,
тяжелые руки.
Горечь цветов пожните в горах на откосах разлуки.
Всем их отдайте, кто знамя несет, несмотря
ни на гнет, ни на муки,
чьи руки в оковах, но песня свободы в сердечном
прерывистом стуке.
Вы, очи поднявшие в поиске, в страстной и трудной
науке,
если завидите тучу в крови, знайте: где-то заря —
как река на излуке!
Лучи ее правду вещают — заря нас берет на поруки.
Жертва в объятиях жертвы, с руками сплетаются руки.
Вулкан не дымится под пеплом — огнем рождены его
звуки.

В небе, окрашенном кровью, пусть нас разглядят наши внуки.
Шагом единым пойдем, грянут маршем шагов перестуки.

1957

Песня для американского негра

Распятого тень
несмываема,
и трель соловьиная
незаглушима.
Нет, Джимми Вильсон*, моя луна
не погаснет, как уголек,
брошенный в реку,
жемчуг мой не сгинет
в морских волнах.
Я знаю, мир не отпрянет в страхе
и не сожжет знамен
несправедливости,
чтобы загнанный зверь
ощутил хоть чуть-чуть тепла.
Тюремщики не утопят в болоте
жестоких законов своих.

72

Джимми Вильсон!
Скажи мне,
как зовут твоих детей?
А твою
светлокожую горлицу?
Дай мне твой адрес —
или у тебя не было дома,
а, Джимми?
Я знаю,
ты проклял черный хлеб
за то, что он продался белым.
Ты терзался в сомнениях,
повесят тебя
или сожгут.
Но ты мечтаешь
на электрическом стуле, Джимми,
о сияющей деснице Спартака,
которая освободит тебя
и возложит венок из колосьев
на чело твое темнокожее
и на его — светлокожее.

1958

Звените, колокола Коммуны

*Накануне победы
алжирской революции*

Пламя твое, Париж,
вспыхнет
в полотнах Пикассо, в стихах
Элюара, в глазах
голодных рабочих.
Попирают твои мостовые
последыши,
выкормыши Петена.
Чисть же, Петен, вельзевулье отродье,
павлиньи перья, запятнанные
паучьими крестами,—
все равно коротки
твои павлиньи шажки
по площадям Парижа.
Пробитое сердце Перье
забилось опять.
Колокола Коммуны, звените!
На баррикады, гвардейцы,
сражайтесь, товарищи!
Падут стены крепости,
и разверзнется небо.
Сверкнет в ночи свастик

молодая луна Элюара,
вырвется песня свободы
из уст Арагона.

1958

На десятый год

«В той стране существовал обычай
побивать камнями до смерти бесплодную женщину
— будь она даже царицей —
на девятый месяц десятого года замужества...»

Десятый год свершений... А она
на месяце девятом все бесплодна,
как будто бы бесчувственна, бесплотна...
Бессильны царь, и жрец, и вся казна.
Царь обходил базары: может быть,
пусть неказистый, чахлый плод болотный
протянет кто-то добрый в дар бесплодной,
чтоб ей хоть птичье перышко родить!
Обещанный десятый год... И что ж?
Богинею напуганной — царица.
И — ни стереть скрижаль, ни заступиться...
Дрожащий свет лампады. Сердца дрожь.
Десятый год, девятый месяц... Строг
обычай и побить велит камнями,

несбывшимися укоряя днями,
бесплодную, чей так печален рок.

Ночь — как змея, ползущая в ночи.
Царица — призрак, тень с безумным взором,
гроздь винограда перед самым сбором.
В руках зажали камни палачи.
Рассвет... И камелек ночной потух.
А камню кровь все продолжает сниться
на теле исковерканном царицы...
Уже на крыше бодрствует петух.

Свиваясь, нити света ткут для дня
безвинной смерти яркие знамена.
Девятый месяц... Нет, не пусто лоно!
Переполох в дворце. Крик. Беготня.
Кто вымысел в реальность отгранил?
Кто от бесславной смерти спас царицу?
С рассветом родила царица птицу!
Кто перышко ей в чрево заронил?
И рухнул тот, кто с камнем ждал в руках,
и тенью стал, и стал землей сырою.
И камень, что во сне так жаждал крови,
рассыпался и обернулся в прах.

1958

Луна восемнадцать лет спустя

Я ее не догнал,
не догнал,
я за лесом ее потерял,
за шатрами, у скал,
и теперь за кольцо, за браслет,
за подсвечник, за старый кинжал
лик свой светлый
на торг, напоказ
выставляет луна.
Вы в очаг не кидайте алмаз
и стеклянных колец
не крадите у бедных цыган.
Рыба дремлет, уснула звезда —
навсегда
след луны оборвался,
корчится в схватках луна...
Подари ей, цыган,
свой серебряный перстень резной
и браслет голубой
молодой роженице отдай...

1958

Король умер

Умер король
с пистолетом в руке,
умер король
с ножом в боку.
Умер прилично,
по-королевски.
Испустил дух
боевой петух.
Ну-ка, ребята,
снимем каски,
нальем туда
чего-нибудь крепкого —
выпьем
за мертвого короля.
Да будет ему
пухом земля!

Кто там
как бешеный
бьет в ворота?
Рвет рубаху
свою на груди?
Кричит и божится,
что он — король?

Позволь!
Значит, ты жив?
И все — вранье:
эпитафии,
плачи,
надгробные речи,
памятник
на твоей могиле,
тома исторических изысканий,
где подводится славный итог
изумительного правленья?
Тысяча поэтов
уже поет
траурные хвалебные оды.
Тысяча шлюх —
весьма аппетитных —
ночами оплакивает тебя.
А ты, выходит,
жив
и не умер?

«Да, я живой.
Подавитесь вы все
своей трепотней,
надгробьями,
плачем,
историческими томами.

Я — живой!
И я — ваш король!
Я удрал,
затаился,
струсил.
Но я живой!
И я — ваш король!»
Нет, извини.
Так не пойдет.
Ты умереть,
наш любезный,
должен.
Выходит,
мы все затеяли зря.
А наша история,
наша слава,
наше достоинство,
наша честь?
Нет, извини,
Хочешь не хочешь,
придется,
дружочек,
тебе умереть.

1958

Поэт и прорицатель

И разбился глаз прорицателя
в моей ладони

Мне страшно, он молвил,
ночь коротка, но помни: свечу
уже втиснули в ухо палачу.
Меня задушит твоя рука, так надо,
вырви мой глаз и ступай:
поутру
отчалит Ноев ковчег.

Оставь мое тело огню,
умирающему на ветру.

Из бутылки ночи выпущен змий,
рыба на дне морском обронила перстень,
и гнев вулкана неотвратим.
Может быть, этой ночью
упадет голова султана?

1958

У дерева одно лицо

Моя земля — безрукая богиня.
Одна на свете родина моя.
Вдогонку слышу клекот воронья:
«Куда спешишь, чужак, себе на гибель?»

Я умираю. Допито вино.
Сломалась сабля. Отзвучала сказка.
Я не сосал двух маток — я не ласков,
мне с колыбели это не дано.

Олива не умеет быть двуликой,
не может быть неискренней река.
Не кланяюсь кумирам двух религий
ни всенародно, ни исподтишка.

«Куда спешишь, чужак, себе на гибель?»—
вдогонку слышу клекот воронья.
Меня зовет безрукая богиня —
одна на свете родина моя.

1959

6-238

Песня на плахе

С тех пор,
как бросил я писать стихи
чернилами иль розовой водицей,
с тех пор,
как, задыхаясь, бегать перестал к дворцовым стенам,
с величьем их свои стихи соизмеряя,
с тех пор,
как тени босоногие земли
следы своих ступней оставили
в моих стихах,—
с тех пор
остались только ночь, да я, да сокол,
летящий за моей звездой...
Волк загнанный хватает снег,
загонщик песнь поет,
и лилия умчалась вместе с ветром.
Фейруз* поет — каштан внимает песне!
Поэт, ты разумом своим не торговал.
Так пой, Фейруз, для воробьев,
сидящих на решетке
моей тюрьмы,
для гроздьев виноградных пой;
они мечтают вином наполнить амфору мою.
Остались только ночь, да я, да сокол,
летящий за моей звездой.

Мой собеседник — меч,
а изголовье — плаха...

1959

Открытка Пушкину

Не воскресай при дворе в наш век,
когда кролик хромой начинает бег —
верхом на покорном слоне,
когда фениксы за решеткой сидят,
когда, извиваясь, гадюки сипят,
слагая стихи о весне.
Захочет вызвать тебя на дуэль
плешивый лакей эмира,
и вцепятся все подонки мира
в тебя — желанную цель.
Скот, молчалив и упитан,
жует поэзию, как фураж.
Вулкан пылающий, что ты дашь
мертвым каменным плитам?

1959

Поэма и кинжал

Кто купит лебединое крыло?
Стихи?
Венок?
Разбитый барабан?
Но вам не холодно
и не тепло.
Вам все равно,
жиреющим рабам.
Но я все жду.
Найдутся смельчаки —
придут и выбьют пыль
из ваших слов,
придут
и вырвут с мясом языки
у изолгавшихся колоколов!

1959

Предсмертное письмо

Вот и поэт
окунул перо
в чернильницу самого Султана.

Увяло перо,
и умер поэт...
Фальшивый динар
у него нашли под подушкой
и письмо:
«Султан,
я съел свой язык,
хорошие рифмы все растерял.
Кланяюсь твоим гончим псам.
А поэты копытами бьют —
став жеребцами твоих конюшен,
рифмы — седла,
размеры — уздечки.
Я никогда не писал, что ты —
пьяница, пляшущий без штанов,
что только среди шутов и шлюх
ты себя чувствуешь
славным и мудрым.
Пусть глаза мои
вытекут в кормушку,
где преет овес твоего коня,
если я хоть раз
оскорбил стихом твоего кривого
певца-лизоблюда...»

1959

Скажи и умри

1

Молчание — смерть.
Скажи и умри.

Клоуны шутками перебросятся —
оба довольны, оба умны.

Эмиры знают, где правда, где ложь,
а ты, притворяясь немым, бредешь
от тюрьмы до тюрьмы.

Скажешь — умрешь.
Промолчишь — умрешь.

Так скажи — и умри.

2

Будь осторожен, снимая печать
с бутылки, где прячется слово.

Остерегайся бродяг моряков —
каждый татуирован!
Остерегайся разгульного пляса —
повалится мачта,
и скорчится парус, и скроются звезды.
Остерегайся русалок морских —
поющих и грозных.
Умер кормчий —
в бутылке поэма лежит.
Он успел ее только начать.
Будь осторожен, срывая печать!

3

Перелетным птицам смотрел я вслед.
Твердил я: у ветра памяти нет.
Писал о деревьях нашего края,
что умирают стоя.

Зимою били колокола,
а буря грозилась и все не шла.
Замерло время — распухший евнух,—
серое и пустое.

Радость меня стороной обошла.
Молния дерево не обожгла.

4

Здесь проходил Поэт —
сквозь тучу саранчи здесь пробивался он.
И скрылся, но еще
он явится к живым
на рубеже времен.
Жива его любовь,
но разве мы мертвы
и наш удел — могила, горстка праха?
Наш век —
слиянье мужества и страха.
Поэт, герой — ничто перед волной молвы.
Герои наши робко прячут лица.
Но слово, как росток, должно пробиться.
Молчанье — золото, а слово — птица,
и дерево, и плод, и шум листвы.

1959

Гон

Первый доносчик следит за вторым.
За ними обоими — еще двое.
Четверо пасут четверых.

Даже тень —
чадра, прикрывшая грязь,—
за тобой шпионит,
когда идешь,
солнцу протягивая ладонь.
Правое ухо шпионит за левым —
подслушивает.
Правый глаз за левым глазом
подсматривает.
И даже сердце — осведомитель.
Все время стучит — тебе на тебя.
Глаза агентов прилипли к лицу,
к твоему лицу,
словно к письму — почтовые марки.
Как ты избавишься от них?
Где свободу найдешь, человек?

1959

Отступник

Стань на колени перед клочком бумаги,
обмакни перо в глаза своего ребенка
и пиши под диктовку убийцы,
который росчерком пера

зарезал тебя на пороге родного дома.
Сгреби в одну кучу
все свои дни, что подобны клочкам бумаги,
и восславь палача,
который подносит к ним спичку.
Замеси из праха и пепла родного дома
страницы мерзостной книги,
замеси эти страницы, но помни —
если только мертвые могут помнить,—
что из строк этой книги
ты плетешь самому себе петлю.
Вырви сердце любимой
и поднеси палачу на блюде из бурой бумаги,
остриги ее косы,
чтобы грязной гиене перевязывать раны,
пауком ненасытным глаза ее выпей —
валяй, не стесняйся,
заливайся хохотом жабьим
посреди своего болота.

Подпишись, подпишись,
поставь свое имя на обрывке бумаги,
подпишись — и по-воровски, с оглядкой,
пробирайся к родному дому.
Берегись, чтобы тень твоя на него не упала,—
жуй эту тень, как платок, пропитанный ядом!
Стучись, стучись в свою дверь,

колоти, пока рук не сломаешь,—
все равно тебе не услышать шагов
той, что тебя любила,
той, чья рука
мечом адамантовым билась в твоей ладони,
знаменем трепетала.
Теперь, словно сгоревшая спичка,
словно ниточка черного дыма,
распалась эта рука.
Стучи, колоти —
не услышишь шагов, не услышишь.
Она сорвала со своего пальца
твой ненавистный перстень терновый...
Где же теперь ты пристанище сыщешь?
Не одолел ты сынов Ленина, не победил их —
напрасно скрежетали ржавые когти,
напрасно бичи палачей свистели:
пред лжеучителем не преклонил колени
ни один из сыновей Ленина,
не побежал кормить файюмского желтого волка
бумагой из роз — заалела она и распустилась
розовым знаменем, что пылает
ненавистью к гильотине.

Вонзи свой взор, словно клык, в пространство,
если только ты еще в силах вглядеться!
Видишь: над желтыми песками

расседаются горы соли
и Дамаск машет вам стягом Омара*,
машет вам, дети Каира.
Вглядись — и пускай разгорится
в горле твоем неугасающий уголек раны.
Вглядись, если ты в силах вглядеться:
сердце Фарида распятого* расцвело в моем сердце
стрепетом красным.
Сердце мое — громкогласный стрепет,
сердце мое — гортань этих стен тюремных,
вовеки оно петь не устанет,
искры песен вовек не перестанут высекаться.

Опьянев от яда, перо зашаталось,
тщетно его подпирает тюремщик.
Волною терниев бьется память
о веки твои — и уснуть мешает.
Птичка стучит босою ножкой,
босою ножкой стучит неустанно
об пол камеры — и ночь навалилась
на грудь твою запертой дверью.

Твой тюремщик — твой же могильщик,
он и лопата, и черная яма.
Так куда же теперь тебе деться?
Домой? Нож торчит в спине твоего дома.

К детям? Распяты твои дети
вместе с куклами на кресте твоих бумажонок.
Выгонят тебя на улицу — ты споткнешься,
о тень своего тюремщика споткнешься.
Так куда же теперь тебе деться?
Ветер развеет тебя, словно ворох клочков бумажных.

1961

Семиликая луна

Шапкой накрой — и умрет его птаха.
У коня его нет еды, кроме праха...
После каждой стоянки
он продает все, чего ему не хватает,
без чего голодает...
Торгует всем,
что на рынке в ходу:
перстнем, стихом, мотыльком и масками...
Продаст бурю, продаст звезду,
продаст все нутро:
сердце свое
и ребро.

Ты умираешь осенью однажды,
весною — дважды.
Зимний дождь окропляет ветки —
он кусает руки и веки.
Я видел его в Кербеле.
Над ним развевалось Хусейново* знамя,
но меч его был украшен письменами,
славящими убийцу Хусейна!

* *
*

Слепых пауков совершенно всерьез
до небес ты вознес.
Возвратился — и камнями забросал
все поэмы, которые написал.
Где же ты, где — ты?
Глазел на звезды — сгорели они дотла!
Жабу свечкой кормил — и она расцвела.
Написал поэму о дворце
на тысячу строк и умолк.
От ее размеров в восторге осел
и теряет голову волк...
Ну, браво,
браво!
Завтра в длинном проливе своего моря ты будешь ловить кита...
Ты, прирожденный поэт, рифмы господин,—

но попадет в твои сети только одна мелкота,
да дохлая кошка с вылупленными глазами,
да пара пачек табаку, да банка сардин.

1966

Американской туристке
(после июня 1967)

Весьма сожалею, мадам,
но вы опоздали —
вы прибыли в нашу страну,
когда уже продано все.

Недавно старуха туристка
купила — задешево! — гроб Саладина*.
Недавно сады Вавилона
пошли с молотка.

Не проданы лишь пирамиды —
слишком тяжелые камни —
да сфинкс —
он весь изрешечен,

израненен,
и если расстанется с этой землей,
то умрет.

Мадам, сожалею,
но продано все:
саркофаги,
папирусы,
перстни — с пальцами вместе,—
отсеченные руки поэтов
и прочая мелочь.

Продано все.
Остался лишь бог;
он бежит,
нагоняемый псами,
затравленный,
словно газель,
бедняк,
заарканенный ложью.

Его мы поймаем
для вас.
Хотите, мадам?

Платите.
Кто продал поэта,
продаст вам и бога.

1967

То была лживая пора, о моя повелительница

То было время, когда пропали слова правды,
когда доносчиков у султана
было больше, чем муравьев на оброненном колоске,
а поэтов — больше, чем комаров над болотом.
То была лживая пора, о моя повелительница.
В ту пору сосватала ты Поэта с тюрьмой
и свой первый гранат отдала другому,
первую ночь отдала другому,
ложе первой любви отдала другому.
То была пора, когда пчела
не жалила похитителей меда,
то была пора, когда аль-Мутанабби*
подсыпал отраву в чашу Сейф ад-Дауля.
То была пора застенка, пора кинжала,
то было безголосое время...
В ту пору, о моя повелительница,

7–238

даже лилия захлебывалась от злобы,
в ту пору за стенами дворцов
насыщались луной и слоновой костью,
а пищей людей по эту сторону стен
были, моя повелительница, камни.
То была пора, когда гранатовое дерево
не приносило плодов...
Как же мне любить тебя, если конь твоего эмира
ржет под твоим окном,
кинжал его висит над твоим ложем,
а перстень его окольцевал твою ногу браслетом?
Как мне любить тебя, если крыло коршуна
реет в груди моей?
Дом твой был твоим сундуком —
где же теперь тот проклятый сундук?
Набей его платками тоски,
проклятыми своими стихами набей,
прихвати с собой Бараду-реку*,
чернеющую, словно рана в груди,
и уходи —
может быть, перевяжет рану твою
поток, что свит из рек всего мира...
Если б ты протянулась ко мне, как рука,
о Барада, Барада, Барада-река,
если б выткала парус из клочьев воды,
если б высекла из масла весло!
Ах, Барада, не лучше ты прочих рек,
но тебя одну полюбил я навек,

я люблю тебя, травы люблю на груди твоей,
я люблю тебя,
умереть хочу на груди твоей,
о Барада!

1967

Барабан

Исчезла земля —
негде ставить шатер.
Нет мечей для боя,
мельниц — для хлеба,
а голубятни — не для мира.
Остался лишь барабан.

«Завещаю вам,—
хозяин сказал,—
барабан,
барабан
и опять барабан.
Тысячу раз завещаю вам барабан!
Если он не будет греметь
день и ночь напролет,

окаменеют ваши сердца,
и погибнете все как один!»

Принялись они
палками бить в барабан —
сломались палки.
Стали ладонями бить в барабан —
стерлись ладони.
Стали они
колотить в барабан
головами.
Колотили долго,
беззаветно и смело.
Наконец-то головы
пригодились для дела.
В бой,
барабан!
Головой —
в барабан!
Бом!
Ба-ра-бам!
Лбом —
в барабан!
Окаменели лбы!
Но они —
верны завещанью —
продолжают лбами

долбить барабан.
Бам-ба-ра-бам!
Бам-ба-ра-бам!
Бам-ба-ра-бам!

1967

Из курса гимнастики средней имени великого землепроходца Ибн Батуты школы для мальчиков и девочек

Напра-во!
Нале-во!
Вос-ток — весь наш!
На запад — марш!
На север... Полукруг —
ша-гай на юг!
Ша..! Вперед — шаг! Двадцать шагов бравых...
На-зад!
Под парусами... на веслах... по озеру правых —
ветер в зад!
Под барабаны... по красным флагам... по улицам
левых — залп!
По-шел впе-ред!
За-дом кру-ти!

Кру-гом!
Кру-гом!
Валяй... Иди!

1967

Маленький Мухаммед Али*

Посвящается
моему сирийскому другу и коллеге
Саиду Хаурании

Песнь первая

Муха́ммед, страна твоя далека,
словно дальнего друга рука,
словно ложе первой любви...
О луна под копытами скакуна,
о кофейни любой спина,
что тавром чужеземным заклеймлена,
о гранатовый плод, что ножа понапрасну ждет,
о соловей, который давно не поет...
Что тебе, королю в изгнании, смерть?
На тебя ни пушинка не упадет,
ни обрывок паучьих тенет.

Ты ступил на последний путь,
стала смерть и другом твоим, и врагом,
что тебе в изголовье терновник кладет,
из шипов покрывало ткет,
саранчу сгоняя со лба луны...
Не забудь и о жаворонках, Мухаммед,
о преданнейших друзьях,—
только вот коротка у них память,
и родина их — весь свет,
они ночуют в гнездах чужих,
чужие саваны служат для них
укрытьем на склоне лет...

Не поднимайте за чужестранца тост,
выливайте вино из чаш на погост.
Шахразада в ночи умерла,
не дождавшись пения петуха.
Подсвечником шея ее была,
а у бросивших родину шеи нет,
и вместо тела — сплошные ступни.
В башмаках, что в пути стоптали они,
голубка гнезда не совьет.

Пусть изгнанник в отчей стране умрет
иль в начале пути умрет,
коль его до конца не успеет пройти,—
нет плачевней смерти на полпути!

В нашей отчей стране, Мухаммед,
невинных девушек нет.
Не осталось почек на наших ветвях,
не осталось следов перстней на перстах,
не осталось русалок в наших морях,
и в лесах не осталось фей.
На мельницах наших нет муки —
одни колючки да сорняки,
а над театром в руинах —
серый занавес крыльев совиных.

Ты даже с китихой в море спал,
ты в обличии Шахрияра
пылко и яро
тысячу и один раз пронзал
Шахразаду
и рыдал
над ранами ее, Мухаммед...
Луну пронзал острием штыка,
скалу терзал острием клинка,
пока
не поседела сталь твоего оружия, Мухаммед...
А ведь язык штыков и клинков —
не единственный в мире:
есть еще родины сладкий зов,
но родины у тебя нет,
и савана для тебя нет

в отчей стране, Алжире...
Все, чем ты владеешь,— туча с когтями,
злая фея с распущенными волосами.
Ах, если б ты мог вернуться в Алжир,
волоча по дороге разбитые крылья!
Только где же она, эта дорога?
Когда мы умрем, Мухаммед,
как хотелось бы нам оставить свой след,
след наших ступней на дороге,—
изменить ее,
спрямить ее,
удлинить ее,—
но где она, эта дорога?

Песнь вторая

Вот о чем
я спрашиваю тебя сейчас
и плачу.
Стихом обмотан мой лоб, как бинтом,
облеплен грязью с тоской впридачу.
Какую же пользу миру мы принесем,
какие крылья водопадам подарим,
если скупимся черкнуть пером
строчку, чтобы помочь болоту?

Подари же болоту руки свои и ступни,
чтобы в озеро превратили его они,—
ты разумеешь меня, Мухаммед?
Твоя смерть научила нас, как умирать —
если б раньше мы это искусство познали,
не повесился б водопад из-за капли воды
и поэты бы не сдирали
оперение с феникса для того,
чтобы огненные одежды его
их стихами бесцветными стали.
Нет плачевней участи чужака,
о котором забыла родная страна,—
горше только пламенная строка,
что в черный список занесена...

1967

Три стены камеры пыток

I

На заре

Я продержусь,
я продержусь,
пока на стене
в одиночной камере

хоть один уголок не исписан мной,
пока пальцы
не стерлись вконец.
Кто-то стучится в стену —
тюремная телеграмма.
Наши вены —
как провода,
вросшие в стены,—
льется кровь.
Пульсируют артерии стен —
вся наша кровь уходи в них.
В камере захлопнули дверь —
еще один заключенный убит.
В камере открыли дверь —
новых узников привели...

II

В полдень

Подали мне карандаш и бумагу —
сунули в ладонь
ключи от дома.
Бумага — ее запятнать хотели —
зашуршала:— Держись!
Карандаш — его испоганить хотели —
проскрипел:— Держись!
Ключ от дома звякнул:
— Ради каждого камня

в нашей с тобой лачуге —
держись!
Телеграмма сквозь стену пришла,
посланная перебитой рукой,
простучала:— Держись!
Дождь,
бегущий по крыше карцера,
каждой каплей своей
кричит:— Держись!

III

После захода солнца

Нет никого —
никто не слышит,
не видит этого человека.
Но каждую ночь, когда стены смолкают
и двери становятся тяжелее,
он выходит на свет
из раны моей.
Ходит по камере, взад-вперед.
О — это я.
Почти что я.
Иногда он приходит сюда ребенком,
иногда — восемнадцатилетним парнем.
Он — надежда моя,
мой воздух,
мое еженощное письмо

миру всему
и отчизне.
Этой ночью он вновь явился,
вышел из раны —
из самого сердца,
измученный,
горький,
с потухшим взглядом.
Ходил по камере —
и ни слова.
Но я услышал:
«Держись!
Молчи!
Сдашься —
мы не увидимся больше!»

1967

Белые чернила

Сколько чернилами черными написано стихов и песен,
Сколько написано и напечатано чернилами черными и красными
афиш, деклараций, газет!
Ах, чернила какие — такие-сякие,—

чернила султана на вкус и на цвет.
Других — им подобных — нет.
Чернила особенно ценные —
Чернила для цензора.

Родина! Нам предписано писать чернилами белыми.
Тебе предписано все прочитать, что написано
чернилами белыми.
Для нас — только чернила белые.
Для наших глаз — только чернила белые.

Не просто предписано, Родина, это написано.
Написано в словаре и на лбу,
на башмаках султана, вылизанных цензором,—
кричать тебе чернилами ценными,
белыми, похожими на судьбу!

1967

Песня о всаднике и коне

Везу поклажу:
бочку чернил,
бумагу,

ротатор,
книги.

Копыта сбиты,
ободраны ноги.
Впереди — трясина,
за ней — деревня,
за горло
схваченная врагом.
Пароль написан
звездами в небе.
Отзыв получен
пулей в лоб.

Солнце захлопнуло
все ворота.
Каждый лучик,
каждый лучик
становится проволокой колючей.
Копыта сбиты,
ободраны ноги.
Луна, сверкавшая Шахразадой,
лежит на столе
у врача
под наркозом,
и нож распарывает ей грудь.
Обман состоялся,

подлость готова.
Каждая шея
знает дорогу —
навстречу виселице спешит.
Копыта избиты,
ободраны ноги.
За нами погоня —
враги хотели б
вырвать зубы
у каждой звезды!
А звезды смеются.
А мы уходим.
А мы спешим,
истекая кровью.
Мы остановимся —
смерть настигнет,
кровь иссякнет
и мрак настанет.
А кровь течет,
и дорога длится,
и время дрожит
под копытом шалым.
Либо я стану ноющей раной,
Либо — стальным кинжалом.

Везу поклажу:
бочку чернил,

бумагу,
ротатор,
книги.
Глаза людские —
разящие пули.
И горе в них
больнее ран.
И мука в них
нестерпимее пыток.

Конец пути.
Свалился конь.
Вдребезги разлетелось все:
чернила,
книги,
перья.
Лежу недвижен — в мертвые копыта
уткнулась голова,
и коршун
спустился на меня —
терзает плоть,
впивается
в беспомощные очи
коня, когтит бумагу,
в чернила окунает клюв,
по зернышку клюет
свинцовый шрифт...

8-238

114

Деревня, куда мы везли
бумагу,
чернила,
перья,
грамоте никогда не училась,
не прочла ни единой книги,
в глаза не видала газеты.

Деревня, куда мы везли
бумагу,
чернила,
перья,
видит во сне
зеленый колос,
мельничный жернов,
а иногда — Свободу.

Теперь у деревни есть
новая песня —
о всаднике и коне.
Каждую ночь
песня
спускается с гор,
и коршуны рвут
ее голое тело...

1967

Высохший полумесяц

Мачты стоят,
а на них полощутся флаги.
Мачты стоят,
словно шеренги штыков.
Нынче торжественный день —
открывается ярмарка,
будет большой балаган,
и любой, у кого есть отчизна,
может вдосталь
налюбоваться
на собственный флаг.

Крохотная отчизна,
высохший полумесяц!
Таскаю тебя в рюкзаке,
удрал с мансарды,
бреду от тюрьмы до тюрьмы,
от пивной до пивной.
Страшно идти
среди флагов —
ветер становится бурей.
Вдруг сломается
и упадет на меня
чья-то мачта

и плотно придавит,
накроет полотнищем...
К черту!
Я не хочу умирать
под флагом,
что ненавистен мне.
Странник,
чужак,
не хочу умирать
под флагом,
где мне противна каждая нитка.

Господи боже!
Отчизна моя!
Маленький высохший полумесяц,
ношу тебя в рюкзаке.
Бездомный,
сижу в деревянном коне,—
где арабская Троя?
Звездам вручаю свои почтовые марки,
против гиен и волков
сражаюсь
цветами нарцисса.
Молчу
и молчу,
а стихи распирают заклеенный рот...

1967

Птицы изгнания

Наконец
самолет приземлился.
Каир возникает,
словно пронзительный крик
птицы.
И эта безумная птица —
с клювом, распяленным в крике,
с костями и кровью,
отравленными пустотой,
с клеймами виз
на изжеванных перьях —
я. Это я.
О, как хочется жить,
а моя страна
проглочена заживо
ненасытным китом!

Чемоданы стоят у дверей,
словно стая волков.
А вокруг — пауки.
И торговцы рабами.
Долгая ночь
наступила для всех поэтов.
Одних выгоняют в шею

вон из родимой страны,
других покупают задешево, оптом,
а третьих
ловят
и добивают в темном углу.
Скитаюсь годами...
Дайте бутылку вина,
и постель,
и немного покоя,
и немного свободы,
иначе свихнусь.

Нет у вас бога.
И разума нет.
И знамен.
Есть у вас только ножи
и луженые глотки.
В этой стране
нет героев,
и женщины их не рожают,
и барабаны не бьют
в честь рожденья детей.
Слышишь,
разносится грохот.
Не слушай.
Видишь,
проходит убийца.

Не удивляйся.
День, словно фляга,
где грязи полно,
и нет молока,
и голодают дети твои.

1967

Я, ты и он

В его словаре
нет этих слов:
дерево, птица, цветок.
Он знает лишь то,
чему научили:
жечь деревья,
топтать цветы,
убивать птиц.
Его учили:
«Сердце — камень».
Выучили.
Сердце окаменело.
Его учили ненавидеть луну.
Выучили.
Надо было кричать:

«Да здравствует то!»,
«Долой это!»,
«Смерть такому-то!»
И он кричал
все, что надо.

В его словаре
никогда, никогда
не было нас с тобой.
Он знает лишь то,
чем научили,
и он убивает
тебя и меня.

1967

Маяковскому[1]

О, Маяковский!..
Где она теперь?
Та рыбка в шляпке пуховой,
и где она, та с бородою жаба?

Инспектор где и первый и десятый?..
И этот критик с дьявольским копытом?..
Паршивый пес, что недовольно лаял
в лицо всем ритмам, рифмам стихотворным,
перехлестнувшим за предел канона...
И тот плешивый, что с хвостом павлиньим,
так ненавидевший Татьяны очи
и волосы Жаклин...
Во имя чести погибает Пушкин...
Во имя снега черного — Есенин...
Во имя нового, что дразнит фарисеев,
на баррикадах
гибнет Маяковский!..
А мысль как прежде торжествует!
И колосок пороховой — как локон
поэзии,
а рифма — нож!..

А ныне твои стихи звучат повсюду, Пушкин!
Зажми своим стихотвореньем рану
и поднимись, Есенин!
Возьми как знамя, Маяковский,
Татьянин взгляд,
возьми как знамя!
А волосы твои, Жаклин,— мой парус...
Забальзамируйте меня смолой,
что соловей

дарует нам с крыла,
и нож в меня вонзите...
Твое здоровье, Пушкин!
Твое здоровье, Есенин!
Твое здоровье, Маяковский!
Пусть входит в плоть мою тот нож!..

1967

До встречи в списках убитых на Суэцком фронте

Студентам израильского университета,
которые писали на своих дипломах:
«Долой войну на истребление!»,
а в письмах —«До встречи в списках убитых
на Суэцком фронте!..»

Яиль Даян*,
разъезжающая на транспортере
с пишущей машинкой на коленях,—
да будет она романисткой,
кумиром американских газет...
На списках убитых израильтян,
меж именами Рахили и Савла,

можно втиснуть названье романа
или строчку рассказа...
Лицо романистки
воссияет на книжной обложке,
а на твое лицо, Мириам,
обрушатся комья земли.
Романистка распишется соломинкой
на бокале,
на коктейле вечернем,
в час, когда разлетятся вдребезги
стекла дома твоего, Речел!..
...Да будет она романисткой,
кумиром американских газет...
Ты, однако, там — на Синае,
на сирийских высотах,
или на улице Газы —
будешь ждать свою смерть —
за мешками с песком,
за бронею в танковой башне...
О тебе — кто напишет?
Ты, парящий в «Фантоме»,—
о тебе кто напишет?
Ты, как факел, вспыхнешь.
Твой портрет на страницах газеты,
может быть, напечатают...
Твое имя напечатают в списке убитых:
Дэниел, пилот «Фантома»...
В лучшем случае имя твое

в день обмена военнопленных
появится в списках.
Или смерть — или плен. Два пути.
Может быть, генерал
тост провозгласит за тебя —
пленного или мертвого...

Дэниел,
мне знакомо твое лицо.
Вспоминаю,
как ты крался по палубе
и лицо твое прожекторá,
вырывая из тьмы,
желтизной заливали.
Ты мальчишкою пробирался близ Хайфы,
убежав из Освенцима в кибуц, на палестинскую землю.
Палестина одела тебя
лепестками трепещущих лилий
и листьями древних олив.
Чем же ты отплатил Палестине?
Пулей в сердце оливы?
Ты возжег не светильник,
а пламя пожара,
ты не шляпу надел из соломы,
а железную каску!

Дэниел,
утешайся же тем,
что, машинку держа на коленях,
журналистка строчит о тебе репортаж.
Ты в «Фантоме» сидишь,
парашют за спиной,
к богу ближе, чем деды твои...
Ближе к богу, чем деды?!
На иврите
я не знаю ни единого слова,
и ты не прочтешь
то, что я говорю о тебе.
Если бы жизнь твоя
хоть ненадолго продлилась!
Но,
принимая вечернюю ванну,
генерал
твое имя найдет в списках
убитых на Синае,
на сирийских высотах,
на улицах Газы,
он замурлычет тихонько,
смоет мыльную пену с себя,
и имя твое, Дэниел,
уйдет вместе с пеной
в отверстие сточной трубы...

1967

Александр Македонский

Купили ее на рынке рабов,
внесли на носилках
в шатер Александра,
погрузили в роскошную ванну
из молока газели и львицы.
Умастили ее благовонным маслом,
окропили духами
и повели
к Александру на ложе
под кудахтанье труб.

Александру она
оказалась по вкусу,
и он забавлялся с ней до утра,
а наутро, пресытившись,
отдал царьку, своему вассалу.
Вассалу она
оказалась по вкусу,
и он забавлялся с ней до утра,
а наутро, пресытившись, отдал ее царедворцу.
Царедворец — другому, помельче,
а тот — своей челяди...
И не успела луна округлиться,
как стала рабыня бокалом,

из которого пьют
цари, челядинцы,
вельможи, солдаты —
кому не лень...

Радуга
этой зимой
не озарит наше небо.
Где же ты,
алый цвет?
Где голубой и зеленый,
оливковый цвет и лимонный?
Только свинец и смола,
паутина и грязь...

И Шахрияра оплакал петух.
И снова открылись торги.
И у Шахразады —
отрезаны косы
и вырван язык.
А то бы она рассказала,
как ее принесли,
словно мяса кусок,
в шатер Александра,
потом — королю,
а потом — царедворцу,—

от постели к постели,
к начальнику стражи,
которому вскоре она надоела,
и он пустил ее
щедро по кругу —
от солдата к солдату,
от солдата к солдату,
от солдата к солдату...

1968

Рембо

Когда Рембо стал работорговцем
и в Абиссинии расставил сети —
отлавливать черных горлиц и львов,
он навсегда расстался с поэзией.
Старомодно, смешно и глупо!
В наше время поэты —
их не счесть!—
весьма успешно ведут торговлю,
но с поэзией не расстались.
Стали агентами рекламных фирм,
торгуют поддельными холстами,
но с поэзией не расстались.

Изготавливают из стихов
оконные рамы и косяки
по заказам султанов —
для дворца,
но с поэзией не расстались.
Получают звания и ордена,
куски от обеда больших людей,
получают кубки, медали и бляхи,
но с поэзией не расстались.
Получают жандармскую визу —
улыбку начищенного сапога —
для каждой книги,
для каждой строки,
но с поэзией все-таки не расстались.
Эх, до чего же он был наивен,
этот потешный парень Рембо!

1968

Песня для эстрадного оркестра в ресторане ленинградской гостиницы

Любовь к нам приходит внезапно,
как молния.
Вспышки — одна за другой —

бегут по лицу,
и тело пронзает озноб,
а потом —
мы погружаемся в ночь.
И она, эта ночь,
стоит перед нами стеной
нашего плача
в мерцании старых свечей.

Любовь налетает как буря
и нас сотрясает,
ломает и с корнем
вырывает из почвы,
швыряет в поток,
и мы, как деревья,
плывем по теченью.
А после —
поток распадается на рукава,
и, прибитые к берегу,
мы остаемся на суше.
Становимся дверью,
ведущей в дом,
или, быть может,
крестом над могилой.

Любовь начинается землетрясеньем,
что рушит все очаги,

и проходит трещиной в наших сердцах,
и хоронит былую любовь.
А потом —
мы подновляем развалины
всю свою жизнь.

Ты пришла, словно молния,
и ослепила меня,
налетела как буря
и прошлое вырвала с корнем,
обрушилась землетрясеньем,
и почва ушла из-под ног.
Зеркало вдребезги!

Вот —
я теряю себя,
я распался на тысячу мелких обломков.
Ползу по земле, собираю осколки лица.
Мне так нужно
лицо мое прежнее —
в ранах, в крови.
Такое, как есть,—
без маски и белых бинтов...

1968

Песнь о Самарканде

... В ту пору, когда Тимур воевал в чужой земле, вдали от Самарканда, призвала Биби-Ханым, его возлюбленная, всех зодчих города и повелела возвести в несколько дней великолепную мечеть. Лишь один молодой зодчий вызвался исполнить ее волю, но потребовал награды: запечатлеть поцелуй на щеке Биби-Ханым. Царица отговаривала его, суля взамен любые богатства, но тот не отступался. Наконец наложила Биби ладонь свою на щеку, и поцеловал зодчий ее дрожащие пальцы, прижатые к щеке. И мечеть была воздвигнута. Когда вернулся Тимур и возжелал казни дерзкого — зодчий бесследно исчез...

О владычица!
Я не владею царством,
но дар мой богаче иных
сокровищ, с бою захваченных,
всей царской казны — это дар чудодея.

Если царскою дланью мир обезглавлен,
он воскреснет волей уст чудодейных:
скорлупа разлетится — выпорхнет птица живая
на волю;
чудом из хмурого сердца Тимурова
вырастет жизни цветок.
Это и есть

любовь — ей в сердце расти и цвесть,
пока оттуда
не вытеснит чуда
стальной клинок...

Между нами, владычица,—
твоя стража и толща стен,
высь этой башни —
но в руках моих, к тебе воздетых,
неужели не хватит вен
лестницу сплесть!
Страшно
колдовство, что зовется Страсть!
О владычица,
кто над нею владычит,
тому — пропáсть
в змеином обличьи.
Даже я, чудодей, не властен
над чудом моим:
я не любим
тобой, владычица!
Но — именем чуда — владыку забудь,
молю тебя!
Ты розой волшебной владеешь сама —
розой
пронзи мне грудь...

Знаю: Тимур у ворот, смерть у ворот Самарканда,
ангелы смерти, демонов стая — войско Тимурово,
но я без страха пойду на плаху,
о владычица,
за единый твой поцелуй:
потому что летучие молнии — косы твои,
потому что небесное пламя — твои уста,
и глаза твои — ярче вечерних звезд,
светозарней солнца...

...И она чудодею — во имя чуда —
позволила — только раз — припасть губами
к щеке — сквозь пальцы дрожащие...

О владычица,
поцелуй твой — смерть, я смертельно пьян —
как долго я жаждал
хоть однажды
припасть к роднику, где не реки родятся, но смерчи
и поэты,
и, отбросив царский богатый кубок,
опьянеть от смерти,
пьяным упасть, и встать, и опять, опять
молнии пить — твои поцелуи!

О владычица,
они чудотворны, но зернами черными
засеяно сердце Тимура:
чем взойдут они, что растят твои поцелуи?
Неужели — войны, казни, запреты
влюбленным — любить, творить — поэтам,
птахам — петь по весне;
воробья изловят и обезглавят
и вывесят голову на стене...
Но когда от стены не останется камня на камне,
скажут: «Вот он, Тимур,— о сером лежачем камне,—
в землю врос он, да не пророс он,
кремневые жилы его бескровны,
бесплодны».
На пепелище поживы не сыщут
воробьи Самарканда.
Видишь,
от владычества львиного — только руины да
львиные когти, да кости,
да перья птичьи,
да миф о былом величье!

1968

Таня

*Посвящается Тане Савичевой
и всем ленинградским детям,
познавшим, что такое блокада*

Таня,
я знаю, Нева будет течь, как прежде;
земля, как прежде, будет вращаться;
генералы будут надраивать ордена;
а гарсоны в бейрутских харчевнях —
чистить тарелки и ложки;
в стамбульских банях будут, как обычно,
подавать полотенца,
обмылок заменят новым куском,
где-то на оконном стекле
в Дамаске
написаны будут стихи;
обезьяна-самка в клетке зверинца
обзаведется новым самцом;
голубка у стен Иерусалима
будет плакать навзрыд,
и, как обычно,
будут хмуриться облака.
Но с тех пор,
как я о тебе услышал

и прочитал твои девять страничек,
осколками стекол
любая из песен
мне режет горло.
Твоя кровь бежит по лицу Земли —
как могу я смотреть
в это лицо?

Женщины мира,
чье плодоносное чрево
рождает детей!
Слышите,
матерью Таня не будет!
«Первый день: умер отец...»
«Второй день: умер брат...»
«Третий день: умерла мать...»
Умерло окно,
зеркало,
дверь...
Умер дом, как ребенок,
на руках переулка.
«Я осталась одна...»

Миллионы троянских коней
стучали в ворота.

Но город,
воскресший от поцелуя
твоей изувеченной куклы,
новой Троей не стал.

Таня,
наш мир — не розовый сад.
Солдатская каска — не цветочная ваза.
Убийцы прячутся,
словно консервные банки
в холодильниках.
Временно затаились,
размножаются медленно,
незаметно,
ждут своего особого часа.
Убийцы
все забрали себе —
дворцы, гаремы, блага земли.
Как быть поэту —
бросить в огонь
все написанные стихи?

Как жить,
если бомбы —
не яблоки!—
падают с неба,

если по-прежнему есть города,
чья кровь — на щеках палачей,
если другая Таня
в каком-то городе мира
не спит, ожидая
прихода убийц?
Как мне жить,
если где-то другая Таня
пишет в своем дневнике:
«Первый день...»
«Второй день...»
А будет ли третий?
Кто знает,
будет ли третий день?
Будет ли третий день?

1968

Стихи на стенах

В каком государстве и веке —
в Париже,
а может быть, в Мекке?—
не знаю,
но знаю, что где-то

однажды убили поэта.
Убийцы за словом идут по пятам.
Погоня за словом похожа на месть,
и бедное слово загнано.
Убийцы вчера оказались там,
сегодня, возможно, окажутся здесь
и где появятся завтра?
Смотрите, вы,
кто хотя бы
способны еще смотреть,
как стражники,
похохатывая,
поэта ведут на смерть.
Дразня дураков толстенных,
как палкой мальчишка —
свиней,
стихи он писал
на стенах,
чтоб людям было видней.
Осмелился,
дурень,
перлами,
по городу намалеванными,
прогневать
Людовика Первого,
а может, ненумерованного.
Гогочут убийцы,
рыгая:

«А ну-ка, стирай со стены
собственными руками
собственные стихи!»
Начал.
Сначала легонько.
«Живее!» —
книт засвистел,
и вместе с кожей ладоней
буквы
сползали
со стен.
И после пятой стертой строки
не стало правой руки.
И после десятой стертой строки
не стало левой руки.
Стражник поэту
в живот — каблуком:
«Остался язык?
Стирай языком!»
И после двадцатой стертой строки
стерся язык
до кровавой трухи.
А стражник похрупывал огурцом:
«Лицо осталось?
Стирай лицом!»
И ерзало с хряском лицо,
сипя,
и таяло перед толпой.

Как страшно стирать
самого себя
самим собой!
И после тридцатой стертой строки
стерлось лицо,
как лицо страны.
«Был малодушен поэт...»—
без стыда
скажете вы,
попивая винцо.
А вы?
У кого из вас были тогда
руки,
язык,
лицо?!

1968

Я вручаю верительные грамоты чрезвычайного посла принцессы «Син» во дворце королевы «Джим»*

Моя государыня! Я утратил цель.
Выслушайте, чтобы не верить слухам:

в аэропорту у меня конфисковали газель
со вспоротым брюхом.
А газель эта самая
была моей верительной грамотой —
конфискованная, зарезанная газель.
Послушайте, внемлите моей мольбе —
каков заговор, представьте себе!..

Кит —
он спрятал Иону во чреве.
Кит защитил Иону.
А мы здесь — в этом безграничном отечестве —
в страхе и гневе,
в этом мире бескрайнем, словно в море бездонном,
все еще верим в собственного кита
или заняты сбором фигового листа,
и все — суета.

Признаюсь —
я очевидец того, что свершилось уже,
мое прежнее лицо газетами вылеплено,
как папье-маше,
признаюсь —
из фаянса лицо мое новое было,
я упал, и вдребезги
земля лицо то разбила.

144

Моя государыня! Примите или отвергните
моей верительной грамоты фиговый лист.
Я жду, когда вы мне ответите...
Я не слишком грязен и не слишком чист,
у меня, стеклом залатавшего плаща пелену,
у меня, разукрасившего мозаикой шлем,
у меня, пристрастившегося к дурному вину
в барах, доступных всем,—
у меня голова закружилась.
Моя государыня! Примите или отвергните
моей верительной грамоты фиговый лист —
просто у ворот дворца
я выпустил пулю
из дула своей винтовки,
я выстрелил в этот моими стихами исписанный лист,
я прострелил себе руку и сердце.
А когда, моя государыня, поэт становится кротким
и на его стихи нельзя опереться
голове бунтаря,
схваченного неумолимым клыком и когтем,
стоит ли жизнь спасать
поэту, житие не способному описать?

1968

Визитная карточка

Я танцевал на всех окнах,
на всех потолках,
на крышах всех тюрем.
Хлебал баланду
из тюремных тарелок.
Родина,
пел о тебе,
обезглавленный
и безрукий.
Я поднимался на все вершины,
во все бездны
спускался.
На моей груди
все тюрьмы мира
выжгли свое клеймо.
Я стучался в закрытые двери.
Меня потаскушка укрыла.
Святой на меня донес.
«Да пребудет с тобой господь!»
А господь в полицейском
участке
давал показания.
Папка раскрыта...
«Фамилия?»
«Место рождения?»

10-238

«Возраст?»
«Адрес?»
«Профессия?»
А его профессия — господь бог.
За руки взяли его,
сфотографировали в трех позах,
окунули пальцы в чернила,
сняли отпечатки перстов господних.
«Да пребудет с тобой господь!»
И господь —
да простит он себе —
шел за мной по пятам,
как сыщик.
В сердце и мне и ему воткнули —
не копья и не ножи,—
поместили в сердце
детекторы лжи.

Родина, с той поры,
как увидел тебя
спотыкающейся
с перепоя,
шатающейся
по тайным притонам,
по всяким злачным местам,
я по горло залез в долги,
ростовщикам всех краев

отдал себя под залог,
отдал песню,
все раны сердца
и голову заложил,
чтоб добыть свободу тебе.
Нет чудес —
в Аладдиновой лампе
высохло масло.
Оливы на нашей земле
уже многие годы
плодов не приносят.
Мне Самсон подарил свои волосы.
Все хорошо.
Но Далила
каждую ночь
ожидает, когда я усну.

Я на вечéре тайной сидел,
изучая меню:
все из плоти и крови твоей,
птица Феникс.

Звонок:
«Алло!»
Миллион раз: «Алло!»
Но провода лишь хохочут в ответ.

148

Я лишен даже права
услышать твой голос,
твой младенческий крик,
твой предсмертный стон...

Я на сцене,
а роли не помню.
Пьянчуга-суфлер
подает мне из будки
реплику Вора.
А я-то — Поэт!

В цирке сижу.
И смеюсь над слоном,
что стоит на резиновом шаре.
Смеюсь над слоном,
у которого спилены бивни.
Надрываю живот.
Хохочу.
Кто я?
Вспомнил!
Я, родина, твой,
я поэт
обезглавленный.

Кто мне поверит,
что я умру за тебя,
странник, в руках
никогда не державший оружья?
Только я
это знаю —
выйду на поединок,
буду сражаться,
умру.

1968

Падай, снег

Падай,
снег,
снег,
снег,
обвиненьями черными.
Падай,
снег,
снег,
снег,
обвиненьями белыми.

Станешь сосулькой,
станешь стеклом —
все равно ты растаешь.
Ни слоновой костью,
ни мрамором
ты не станешь.

Падай, снег,
обвиненьями черными.
Падай, снег,
обвиненьями белыми.
Я молчал
ночами несчетными,
и покорным
меня не сделали.
Родина, знай:
не совьют из меня бельевую веревку,
на которой палач
просушит маску и плащ.
И не выйдет вешалка
из моей шеи
для вражьей каски,
для вражьей шинели.
Спина моя запомнила пытки —
тюрьма вспахала ее, как поле.
И вот — урожай.

Родина, знай!
Я несу на плечах
тебя и Освенцим.
Ты во мне,
и твои глаза —
не пуговицы на рубашке.
Ты во мне,
и твои рубцы
запеклись на груди.
Ты во мне,
ты во мне,
за тебя дерусь,
тебе отдаю перо.

Слышишь рыданье
последнего из сыновей?
Сердце пронзил я
ветками пальмы твоей.
Слышишь,
больная,
забытая богом
земля?
К горлу прижал я
цветок твоего миндаля.

Падай,
снег,

снег,
снег,
обвиненьями черными.
Падай,
снег,
снег,
снег,
обвиненьями белыми.
Я обвинитель сам,
я человек.
Падай, снег!
Станешь сосулькой,
станешь стеклом —
все равно ты растаешь.
Ни слоновой костью,
ни мрамором
ты не станешь.

Ты растаешь,
снег,
ты растаешь,
снег,
ты растаешь,
снег,
ты растаешь...

1968

Огни светофора

Красный свет — стоп!
Зеленый — иди!
Красный,
раскаленный...
Зеленый,
безопасный...
Зеленый...
Красный...
Зеленый...
Красный...
Стоп —
огненный сноп!
Иди —
кошачий глаз впереди!
Стоп —
и по сердцу озноб.
Иди —
и холод в груди.
Мальчик родился —
в автомобиле.
Насмерть разбился —
в автомобиле.
Как мы летели —
в автомобиле!
Как мы любили —
в автомобиле!

Словно в постели —
в автомобиле!
Словно в могиле —
в автомобиле!
Красный — стоп,
и по сердцу озноб.
Зеленый — иди,
и холод в груди.
Кровь на асфальте
пятнами краски...
Кровь на губах
волною соленой...
Красный...
Зеленый...
Красный...
Зеленый...
Красный...
Зеленый...

1968

Из дневника театрального суфлера

Понедельник

Занавес поднят.
Актеры и зрители смешаны в кучу.

Герой затерялся куда-то.
Украли его одежду,
между собой поделили.
Тот, кому достались штаны,
кричит: «Я — герой!»
Тот, кто пуговицу оторвал,
кричит: «Я — герой!»
А тот, кто сумел украсть
цветное трико и ботфорты,
тоже кричит: «Я — герой!»
Где же герой?
Кому я суфлировать буду?
Занавес не опустился,
висит над моей головой,
как дамоклов меч.
И когда он опустится,
мне неизвестно.

Вторник

Отелло прошел мимо будки
и мне прокричал:
«Берегись
Дездемоны —
она тебя ночью задушит!»
И вот из театра в театр
тащу на плечах
свою ревность,

завел себе хобби —
каждый вечер душу Дездемону.

Среда

Мариана Пинеда*,
всю жизнь я мечтал,
чтобы вулкан подарил мне песню,
розы — землетрясенье,
а ураган меня сделал героем.
Жизнь прошла,
было все:
извержения,
землетрясения,
смерчи —
но без песен,
без подвигов
и без цветов.
Умер я, Мариана Пинеда,
и нечего лгать
у моей могилы.

Четверг

Синдбад-мореход?
Но ведь мне-то известно:
он боится дождя,
и дрожит, когда ветер крепчает,

и падает в обморок
от ударов грома.
Поверьте мне —
уж я его знаю!
Его океан — подоконник,
при́стань — истертый диван,
а острова —
просто пятна на старых обоях.
Ах, как нам нужен Корабль,
чтобы казаться себе моряками
и говорить:
«Было время!
У нас на ладонях плескались моря,
и в плаванье нас водил
Синдбад-мореход!»

Пятница

Каждый вечер
он играл смерть героя,
и вы, забросав его цветами,
теснясь у сцены,
были готовы
обезглавить его убийцу.
А когда все уходили из зала
и улица заглатывала ваши тени,
он поднимался,

стряхивал цветы,
отпихивал их ногой,
сдирал окровавленную одежду,
швырял ее в шкаф своего убийцы,
и оба шли пьянствовать до утра.
А вы где-то там
у себя
на задворках,
с красными кроличьими глазами,—
глотки, сорванные криком,
ладони, опухшие от оваций,
утром проснетесь,
пойдете на службу,
вечером купите снова билет
и с охапкой цветов
пойдете в театр.

Суббота

Она играла дуэнью Сеньоры
и, когда заканчивался спектакль,
приходила ко мне в мансарду.
Все было просто.
Мы пили вино,
любили друг друга
на старой кровати.
Но однажды дуэнье

дали роль Сеньоры.
И тотчас
она разлюбила меня
вместе с мансардой,
вином и кроватью.
Ушла.
Наверно, любит Сеньора...

Воскресенье

Герой запнулся...
Умоляет, шепчет:
«Подскажи!»
Я молчу.
Надоело.
Хватит!
Двадцать лет я подсказывал
всякую чушь,
и собственный шепот
мне опротивел.

Понедельник

Прогнали...

1968

Заседание

Все рупоры твердят одно и то же.
Наушники приклеены к ушам.
Слова бегут мурашками по коже,
и каждый рот, запекшийся, как шрам,
дымится. И пожарники от дрожи
избавиться не могут. А кругом
многоязыкий зал бесстыдно весел.

Эй, главари над жирным пирогом,
вам аплодируют сиденья кресел!

1968

Стихотворение в раздел «Письма читателей»

Не гневайтесь,
если с корзиной пуль и гранат
не пришел я к сезону взрывов и землетрясений...
Если не вывесил стихотворений,
как объявлений, на этой стене...
Если не оттолкнул я рук, что тянулись ко мне

за пустотой удостоверений,
Я предоставил носителям ярлыков —
как их много, и каждую ночь все больше —
написать о скрежете фронтовых жерновов,
о героизме оливы, когда ей бывает больно...
Когда были вы искрой,
вестью благой,
я любил вас, как любит каждый изгой —
самозабвенно любил, до непорочности,—
вестника маленького до непрочности.
Он нес, этот вестник, словно свечу,
огромный вопрос...
Он ненавидел газеты
и стихи, как перо на берете...
Но вы шепотком подменили язык
бури — отчаянный крик...
Когда вы подменили аппаратурой Ронсон
типографский станок
и скорчились лягушки, как инвалиды,
когда кто-то время вывернуть смог
в причудливости средневековой касыды,
когда кровь пропитала рисунок пор,
я оставил лягушкам в укор
болота их типографий
и пошел, вопрошая о маленьком вестнике —
может быть, даже моем ровеснике,—
и нашел его мертвым под стеной объявлений,
и не было места для стихотворений —

11-238

там подрядчики собирали в пробитую каску
пожертвования на букеты с яркой раскраской
вместо прозрачных невянущих слез...
Вы, читающие хронику про наши ранения,
не придете к стене, где кричат объявления,
в ваших альбомах — мы приложения
к фотографиям, где никто на себя не похож,—
признайтесь однажды, что все это — ложь,
что мачты пестрых знамен —
это опоры виселиц, знакомых с давних времен,
что под нами — тюремная камера,
что над нами — тюремная камера,
что хроникерская кинокамера
на нас нацелена, словно луна,
что в зерка́лке фотокамеры
акула зеркальная не видна,
когда жертву свою поджидает она...
Вы! Родовитые джентльмены!
Не подстреливайте
беззащитных гусынь —
пускай плодятся,
чтобы нести золотые яйца
в ваши глаза,
                    карманы
                                        и уши!..
О наша шкура! Шершавый лист типографской бумаги!
Над Родиной утренних и вечерних газет кровавые
                                                                                флаги.

Берегись подлецов!
Береги лицо!
Лицо, которое вижу повсюду.
Всегда, когда полумесяц округлялся полной луной,
по нему открывали огонь!

1969

Бог и поэты

Голова твоего отца
прибита к стене —
на нее опускается ворон.
Голова твоего отца
упала, как яблоко, в грязь,
под копыта чужих лошадей.

А ты
сидишь за столом с подлецами,
бормочешь блаженно:
— Сегодня мой день,
завтра тоже мой день.
Сегодня — выпивка.
Завтра — похмелье...

Если Он завтра
на землю с креста сойдет
и посмотрит вокруг,
Он от тебя отречется,
а может, сгорит со стыда,
а может, во гневе
покарает подонка...
Всего вероятней,
Он плюнет тебе в лицо.

Эх вы, поэты!
Одни умирали,
спасая Меч государства,
другие — оберегая
государственный Барабан,
третьи — попросту лежа
под государственным Сапогом.
А четвертые тоже помрут —
ради чего?

Страна, что была твоей родиной,
стала торговой фирмой.
Умирает винтовка,
утратив мишень.

Я написал на облаке:
«Хватит. Долой цензуру!»
и в ту же минуту были
конфискованы небеса.

1969

Под синим огнем фонарей

Слово пошло на панель —
по ночам торгует собой.
Под фонарями стоит —
надувные груди
и сердце из глины.
Слово, глаза твои —
раковины пустые.
Створку раскроешь —
снова жемчужина
стала песчинкой.
Слово пошло на панель...

Хватит, шлюха!
Ты смотришь зазывно
на всех перекрестках,

из двери любого притона,
сдаешься в аренду
кому угодно,
на час или на ночь,
в любой постели,
всем, кто заплатит
под синим огнем фонарей.

А воробьи-дурачки
о фальшивую грудь
разбиваются насмерть!
Прочь улетайте, птицы!

1969

Нет!

Раны ее кричат:
«Нет!»
Цепи ее кричат:
«Нет!»
Горлица,
прикрывшая грудью
раны ее,

кричит:
«Нет!»

Нет! —
продающим Газу,
как рабыню на рынке.
Нет! —
расколовшим на части
зеркало Газы,
продавшим осколки за грош.
Газетные утки,
кончайте свое гоготанье,
дайте услышать:
«Нет!»

Умирает отчизна
во мраке —
без блеска юпитеров,
без мерцанья свечей,
без единого лунного блика.
Ни извещений в печати,
ни похорон,
ни поминальных стихов,
ни причитаний,
ни траурных маршей.

Каменносердые, вы,
кто в погоне за модой
патлы себе отрастили,
заткнитесь хотя бы на миг —
дайте услышать:
«Нет!»

Это кричит
стена
старого дома,
которая тысячу раз умирала
и все же стоит!

А вы — хватаете жадно
разносимую ветром
пыль отчизны моей.

Что ж, рассыпьте ее по бутылкам —
ожидает товара
миллион торгашей!

1969

Поэма на листках папируса

Если правы жрецы,
цветы лотоса для фараона
то же, что история
на листах папируса.
История — это баран безрогий,
история — это послевоенный калека убогий.
Войны — жнецы.
История — жертва, а не истица.
Когда глазам фараона
понадобилось на постижение мира мгновенье —
под ве́ками, над ве́ками,—
пустыню и сад, штиль и шторм
мог он постигнуть зреньем, а не руками.
Однако запутался верный жрец.
Как мог ошибиться он?
Как ошибиться мог фараон?
Как это мудрость могла ошибиться?

В сосуде для сурьмы — все тайны мира,
идут цари земные босиком,
чтобы нести весь груз его порфира...
Моря и суша из-под тяжких век
бежали. А баран, рогов лишенный,—
история,— превращена в орла...

Не нужно ей, чтобы она лгала
глазам жреца и плахе фараона.
Жрецу бы за пропажу поплатиться —
ведь жаждет жадность — царская десница.

Цветок лотоса,
листок папируса, брошенный в воду.
Баран брошен в воду.
Камешек брошен в воду.
Чело воды трещина прочертила —
и потекла кровь Нила,
и для крови берегов не хватило.
Вырвал глаз оскорбленный жрец —
и потекла кровь Нила,
и места в берегах не хватило.
Бросил жрец священную трость,
но она потопа не преградила.
Как наложить повязку
на раненое чело реки?
Нил одинок — дайте ему невесту,
и будет потомство рек и проток
являться тогда к священному месту!—
закричали цветы лотоса,
закричали листы папируса,
закричали женщины —
и появилась у Нила невеста.
Появилась у смерти свадьба.

Теперь Нилу спокойно лежать бы.
Но на весь его долгий век
единственной женщины мало,
чтобы ручьи и протоки рожала.
Ведь он привыкнет к ее поцелуям,
Если жертву только одну даруем!
Решили — построим плотину!
И отдали Нилу женщин
по числу его крокодилов...
И отдали Нилу женщин
по числу лепестков лотоса
и чаек —
ему все мало!
Мы тяжесть Нила не измеряем —
под ней рождаемся и умираем.
Давайте просто построим плотину!
— Предатель!— жрец закричал, принося жертву.
— Предатель!— закричал заклинатель змей.
— Предатель,— сказали бабы, ощупывая свои
животы,
мечтая родить для Нила невесту.
Все кликушествовали: «Предатель!
Предатель! Предатель!..»
Продавщица цветов заорала: «Предатель!»
Нареченная Нила орала: «Предатель!»
Мастер, сшивший иглой одеянье невесты,
бормотал вслед за ними: «Предатель!»
Предатель...

Предатель...
Предатель...—
звучало в их общем хоре.
— Как поставим мы стену
пред ликом Нила?
Как оставим невесту
без ласки Нила?
Как останется Нил без жертв и без женщин?
Как прожить человеку, не принеся жертвы?
Как История будет без жертв создаваться?
Появилась у Смерти Книга —
Книга волков и газелей...
И завопила всеобщая глотка:
— В Нил его бросим!
В Нил его бросим!
Они бросили в Нил его тело,
и поплыло оно смело,
стало тело расти — все длиннее и шире
и заполнило русло Нила.

1969

Цыганка

Река из колец и перстней,
река отрубленных пальцев,

выколотых очей.
На небе луна дымится,
словно грудь молодая,
отрезанная ножом.
Поэты стоят, и смотрят,
и ждут — народ терпеливый! —
когда споют соловьи.

Садись на коня живее,
упрячь свое сердце в торбу.
Заткнулся наш соловей!
Молчит. Задешево куплен.
Тебе остается перстень —
на память — из той реки.
Возьми перстенек, цыганка.
Наври от самого сердца.
Придумай завтрашний день.
Тебе подарю сережки,
и зеркальце, и поэму
и полный крови гранат.
А ты мне сулишь дорогу...
Звенят и дрожат браслеты
на смуглых твоих ногах.
Куда я пойду? Сегодня,
наверное, уж поздно. Завтра?
До завтра нужно дожить.
Ножом висит полумесяц
над горлом. А полнолунье —

не что иное, как смерть.
И розы горят, как свечи,
и все зеркала разбиты.
Мертвеют мои глаза.
Присядь к очагу, цыганка.
Река отрубленных пальцев
плывет сквозь тебя всю ночь.
Раскрой мертвецам ладони,
гадай, нагадай им счастье,
любовь и долгую жизнь.
Не надо. Закрой им лица
кленовым листом. Зеленым.
Молчи. Не гадай. Не плачь.

Затихли рыбешки. Море
их выбросило на берег.
Подергались — и конец.
Что будет? Цветы над гробом.
Глаза покраснеют, плечи
закутаны будут в креп.
Где перстень мой? Продан, брошен,
лежит под чужой подушкой,
блестит на чужой руке.
Уносит меня, уносит
река отрубленных пальцев,
выколотых очей...

1969

Четыре стихотворения на лепестках искусственной розы

1

Не выслушивай воспоминаний,
и книг не читай,
и не листай газет.
Этот век — словно женщина
из семьи Бармекидов*,
истребленной халифом.
Уцелевшая женщина —
та, за которой
по улицам гонится евнух Масрур*,
знаменитый палач.
Милый мой,
на любого из нас
найдется Масрур.
У него есть задание —
головы наши снять,
положить на тарелки,
подать их к столу,
где ужинают господа.

2

Террор и предательство —
два закадычных дружка.
Вместе
сидят за решеткой,
спят на одной постели,
песни горланят дуэтом,
пьют за двоих
и вдвоем.

3

Мой друг захотел
всю правду сказать,
до конца.
Но зубы вампира
слишком длинны и остры.
И друг
притворился свихнувшимся,
чтоб уцелеть,
а после —
когда притворяться устал
и глянул вселенной в лицо,
по-настоящему спятил,
всерьез, навсегда...

4

Нет,
не пишите правдивых стихов,
утопите перо
в бутылке чернил.
А ваши стихи
пусть плывут по теченью,
чтобы пристать
к безопасной земле...

1970

На мелодию Микиса Теодоракиса

О человеке по имени «Да»

Да.
Ура всем «Да»!
Я поднимаю бокал
за «Да».

Человек по имени «Да»
молол это слово в соль и в крупу,

каплями пота стояло на лбу
и на бумагу стекало:
«Да! Да-да-да!»

Презанятной он был фигурой —
человек по имени «Да»!
Голова вечно в плечи вжата,
сердце в пятки ушло навсегда.
Изо рта —
только «Да».

Лишь однажды, во тьме ночной,
лежа рядом с женой,
чье брюшко равномерно вздымало
мягкое одеяло,—
он осмелился вымолвить «нет».
Но доносчиком оказался
младенец во чреве —
и, едва появился на свет,
маленький плут
сразу донес на отца:
«Уа-уа!»
Полиция тут как тут.

Алая роза, придя на поклон
в Акрополь,
к мрамору белых колонн,
поведала нам секрет
человека по имени «Да»,
однажды сказавшего нет.

Сладко нарушить запрет!
Лишь раз отхлебнул винца
человек по имени «Да»...
И сразу исчез.
Навсегда.

1970

Чаша[1]

Для того, кто будет после меня, Палестина —
женщина,
А мне — только жертвы завещаны!
Когда постигает меня горячка, я лечусь кровью.
Кровь — недуг, от которого не лечат любовью.

---

[1] Здесь и далее © Dar al-Aoudah Beyrouth, 1979

180

Для того, кто будет после меня, небо — женщина.
А для меня — это обитель пророков.
Ах, каким сладким станет оно,
когда прогонят пророков с его порогов.
О Палестина — воров и соглядатаев мать,—
куда от чаши твоей бежать?
Любого, кто тебе протянул гроздь,
в винном склепе пытают, в руку вбит ржавый гвоздь.
Испей же хоть раз чашу мою.
Я всю жизнь твою чашу пью.

1972

Глаза марокканки Малики

О стойкости, геройстве я писал,
а на глаза навертывались слезы.
Поэзия, в отличие от прозы,—
составленный богами заговор,
а мы, поэты, навсегда пребудем
посредниками — как и до сих пор.
Тебя я вижу в глубине бокала,
но этого мне, к сожаленью, мало.
Не за тебя ли бился я так долго,

все небо сотрясал своей угрозой,
вооруженный только алой розой?
Нет, не во мне воплощено движенье
Сопротивленья. Я в твоей крови —
газель, пронзенная свечой любви.
Я был в твоей крови. Незримым духом.
Настойчиво жужжала жизнь над ухом
и ползала, как муравей, вокруг.
О новом кабаре кричал неон,
нам предлагал всех вин смешенье он.
Я был в твоей крови. Незримым духом.
А те, кого я не хочу назвать,—
выныривали из зрачков твоих
и тут же снова погружались в них,
все были, как и я, в твоей крови.
Бог с ангелами в шахматы играл,
шагал король по шахматной доске,
а я следил в тревоге и тоске,
как он терял могущество и власть.
К твоей руке стремился я припасть,
как птица, склевывающая зерна
с ладони. Жертва грусти необорной,
стремился я к руке твоей припасть.
И молнии разряды слышал я
в твоей крови.
Я был в твоей крови.

В твоих глазах кружился я, но чаще
кружились небеса в моих глазах,
меня к себе раздвоенно маня,
и пополам не рассекал меня
экватор. Всякий раз при созреванье
плодов
я, весь в предчувствии грозы,
себя насквозь клинком свечи пронзаю,
и если вижу в небесах комету,
покорно шею подставляю
ее —
как меч сверкающему —
свету.
Обхватывал я пальцами бокал,
и вдруг на них уселся воробей,
перевернул бокал я — как в ловушку,
поймал — и не опомнилась! — пичужку.
Затрепыхалась. Умерла от страха.

С того, я знаю, дня и началось
мое изгнанье из своей же крови,
я отрешен от рук своих и уст,
меня рассек экватор пополам,
с того, я знаю, памятного дня
извечный страх преследует меня.
Боюсь при виде женского лица,
не рассекло бы надвое меня.

Увижу птицу —
то же опасенье,
боюсь, чтоб взмахом острого крыла
меня бы пополам не рассекла.
Мое дыханье прервалось.
Не я,
а ветер облака сгоняет с неба,
где звезды — зернышки песка в пустыне.
Мое дыханье прервалось. Отныне
не притуманит зеркала оно.
Я вынужден сознаться в пораженье.
Отныне ни один крылатый гость
не сядет на мою ладонь. Пусть станет,
любимая, она твоим приютом.

Из-под ногтей не вырастет пшеница,
и ранам мертвецов
не заживиться,
и не покинуть им своих могил.
Им не перевести язык земли
и алых роз — ни на какой другой.

Я говорю отрубленной руке:
пускай оставит мертвого коня,
ей не пристало самоустраняться.

Я сам не понимаю: прав, неправ ли.
И вынужден сознаться в пораженье
и попросить о прекращенье травли.
О вы, которых не хочу назвать.
Я знаю твердо: не из ваших рук
я получу обратно край родной.
Любимая моя — мой край родной.
Он ей принадлежит, лишь ей одной.
Хватайте же за волосы ее,
в неправедный свой волоките суд.
Пусть голову
у неба
отсекут.
Я шествовал по морю, как по суше,
и вот вернулся —
чудо из чудес!
Я муж избранницы самих небес,
отныне слиты и тела и души.

Я марками обклеил небосклон.
Не уверяйте же меня напрасно,
что молния, во всем своем накале,
смирится,
станет, как цветок в бокале.
Не уверяйте, что река в бокале
замрет навек,
прервав свой быстрый бег,
и вдруг запляшут рыбы на хвостах.

Река в бокале превратилась
в твою сорочку — ею завладев,
тебя к себе
утаскивает лев.

Мои стихи похоронили в книгах,
в учебниках, среди ценнейших данных —
итогов разысканий неустанных.
Высаживают в плоть мою оливы,
и надо мной — Корана переливы.
И те, кого я не хочу назвать,
чтоб заглушить свой страх,
в меня клыки
вонзают,
как кинжальные клинки.

Нет родины у Родины моей.
Так нацепи парик землетрясенья
и гребнем бури расчеши его.
Себе же я немногого прошу —
лишь туфельку
с ноги моей любимой.

Теперь меня черта не рассекает.
На шее у меня — висячий сад,

и мураши, что подымались вверх,
ползут, с прекрасной лилией, назад.
Кружились надо мною тучи смерти,
но уцелел я в этой круговерти.
Свой пистолет я розой зарядил,
нажал на спусковой крючок — и вмиг
взлетел под небеса пиратский бриг,
и вздыбилась пучина вод морских.

Любимая, я уцелел от взрыва,
но не переживу твоей руки.
Я уцелел в свирепейшей из бурь,
всем предзнаменованьям вопреки,
но не переживу твоей руки.

Любимая, ты по волнам прошла
и вот вернулась —
чудо из чудес —
моей женой, избранница небес,
с моими пальцами
свои сплела,
и все вокруг преобразилось в пальцы:
и отмели, и берега морские,
и корабли — все пальцы, пальцы, пальцы.
И у меня одно желанье — стать
суденышком между твоих двух пальцев.

Смешай в бокале травы и песок,
смешай в бокале небеса и море
и птиц смешай с деревьями навеки.
Любимая, мне даровали реки
свои лилово-синие туники,
и вижу я, безумец полудикий,
небесный свод со стороны исподней.

Любимая, ты солнце-апельсин
ощипываешь для меня сегодня.
Заворожи же волны: пусть застынут.
Да буду я в неистовом безумстве.
Моя рубашка сделалась волною,
и кожа стала облачком, а две
руки мои — в потоки превратились:
и понесли,
лихие кони,
взмылясь,
на островок, между твоих двух пальцев.

Морские чайки, пощадите пальцы,
хоть вы и голодны, как я, бедняги.
Аллах! Я слышу зов ее: приди.
Устранена зияющая щель,
экватор рассекал мою постель,

теперь она едина, нет черты,
протягиваю руку...
Это ты?

1972

Фрэнк Синатра

Бывает,
стихи сочиняет поэт
в праведном
гневе пылком,
а крупнокалиберный пистолет
следит
за его затылком.
Послушно
свой курс изменяет пилот
в захваченном самолете.
Поэт не таков —
продолжает полет.
С пути вы его не собьете.

Бывает,
стихи сочиняет поэт

в праведном
гневе пылком,
а крупнокалиберный пистолет
следит
за его затылком.
Бывает,
доносчик макает перо
в башмак полицейский, с чернилами,
выворачивает
гнилое нутро —
вся мерзость наружу вылилась.
И весь этот вздор тошнотный — в набор.
Читайте.
Смотрите в кадре.
Итак, сегодняший наш разговор —
о Фрэнке Синатре.

Кто не слышал о нем?
Знаменит.
Диски его,
как виски,
идут нарасхват.
Бандит, не бандит —
а друг мафии
самый близкий.
Отрубленные,
плавают пальцы

в бассейне его, как рыбки.
А он на них равнодушно пялится,
с привычной, как маска,
улыбкой.
Вскрывает бутылку очередную.
Булькает голос сиплый.
Томные души волнуя,
поет певец Миссисипи.

Фрэнк Синатра!
В его биографии
не только горит золотыми коронками
дружба с подонками
мафии.
Он и бунтарь, и поэт,
то в этом, то в том обличии.
Но мы —
дураков нет —
хорошо понимаем различие
между свистком фараона
и соловьиной трелью,
между костью вареной
и нежной речной форелью.

1973

Аллах на баррикадах Дамаска

1

Моисею дал свой посох бог,
чтоб его от бед спасла дорога,
чтоб с пути убрать и море смог...
Бить им — нарушать заветы бога.
«Моисеев посох»— самолет!
И сам бог в Дамаске, в жарком месте:
на спине мешки с песком несет
и цемент со всеми вместе месит.
Стал Аллах солдатом — пусть глядят —
здесь, в Дамаске, на кровавой пашне.
С баррикад ракетами летят
минаретов омейядских* башни...

2

«Моисеев посох» сбит — и вот
рухнул на сирийские высоты.
Он на трубки для солдат пойдет —
знай кури и позабудь заботы!
Пусть кудрявится табачный дым,
у него особая окраска...

Так кури и сотвори иным
небо задымленное Дамаска!

3

Молча умирал он.
Без фанфар,
радиоафиш и телекамер.
Сердца догорел последний жар.
Свет его не высветил, звук замер...
Мои пальцы — десять пуль литых,
сердце — как гранат тугая связка.
Отдаю, протягиваю их —
в руки напряженные Дамаска...
Сердца догорел последний жар,
свет его не высветил, звук замер.
Молча умирал он.
Без фанфар,
радиоафиш и телекамер.

4

Речка городская — белый бинт,
птица, что вдруг стала медсестрою.
Мчится «скорой помощью», кипит,
одаряя донорскою кровью.

И Дамаск... Дамаск беды, войны.
Под прицелом — капля алой крови...
Ну и я... Так пасмурно темны
мои руки — пасмурной порою.

5

И когда с ноги спал белый бинт,
ты пошел по водам и по камню
и увидел, что Аллах скорбит
в Хайфе, возле моря, и руками —
кто из малышей ни позови —
каждому тотчас же рыбу ловит,
восклицая в ужасе любви:
— Для Дамаска день беду готовит!

6

Вот Дамаск...
Я — непоколебим.
Что там ни найду и что ни брошу,
не окрашу цветом голубым*
я свои глаза, ладони, кожу.
Голубую краску не вотру
я в ступни движеньем оробелым.
Хватит мне того, что я умру

13-238

меж цветами —
голубым и белым.

7

Словно две почтовых марки — взгляд
моих глаз в мир новый, независимый...
Бомбы с неба на Дамаск летят.
Почтальон, как прежде, носит письма.
Словно две почтовых марки — взгляд
моих глаз в мир новый, светлый, прочный...
Бомбы с неба на Дамаск летят,
почтальон
все носит, носит почту...

8

И на плоских крышах зданий, в небо
радостно распахнутых тобой,
вон клянутся на лепешке хлеба
твои дети,
что продолжат бой!

1973

Пушкину

Поэт набивает трубку белыми чернилами
и дымит царю в лицо
своими стихами.
Как я устал искать тебя, мой Пушкин!
Что может быть хуже,
когда своего поэта теряет поэт?
Ни в чернильнице,
ни внутри медальона —
я знаю —
тебя нет.
Лишь поэтические воры —
их своры —
в музее, в анатомическом театре,
в критических официозах бездушных.
Но все же я нашел тебя, мой Пушкин,
между пистолетом Дантеса и пистолетом Мартынова.
Ты восстаешь и возвращаешься к нам.
Я нашел там,
в трупе Дантеса,—
спрятавшегося Мартынова.
Убийца наследует убийце,
наследство — перчатка и пуля,—
так повелось.
А поэт наследует поэту —
пуля меж глаз,

локон волос.
Ах, оставьте поэта в покое!
Хватит слов, бесполезных хоть плачь.
В музее сохранили, Пушкин, бумагу и плащ,
гипсовую маску — твое посмертное лицо.
Где, однако, пороховой летучий дымок
из Дантесова пистолета?
Почему никто не вспомнил про это?
Почему, о Пушкин, никто его не собрал,
не наполнил им свой бокал?
Чтобы облачко мы из него
сотворили в память поэта.

Внутри медальона
был локон волос
с головы твоей, Пушкин.
Словно молния,
что на острие ножа заблистала,
был этот локон твоих волос.
И стягом поэтов стал он.
Вот она, тетрадь твоих стихов.
От отрывка к отрывку, с каждой страницей,
царь все больше приходил в ужас.
А соглядатай царя, поднатужась,
на обеденный стол выворачивал
чемоданы строк сакраментальных
и поиск той, тайной рифмы чинил...

Одной правдивой капли чернил
безусловно б хватило,
чтоб отравить крокодила...
И всех соглядатаев —
явных
и тайных!

Мы — поэты,
и пусть мы не держим в руках кинжала или меча,
наковальня, на которой куются наши стихи,
горяча.
Когда поэт любит и защищает свой голос
от подлых голосов,
от земных кабанов
и тайных псов,
Пушкин, для человека
становится смерть прекрасной надеждой.
Она становится, Пушкин, первой любовью,
первой мечтой мятежной
и — первой смертью.
Стала смерть твоя защитой нашим голосам,
но она и открыла поэтам, нам:
тем, что мы в мире сеем,
мы принадлежим к двум человеческим родам,
к двум семьям.
Пишет чернилами один род,
а другой — кровью, наоборот.

198

Пушкин!
Есть еще в этом мире
второй Дантес,
второй Мартынов —
знакомые лица...
Есть еще, Пушкин, в этом мире
и поэт,
и убийца.

1973

Комната 405

Ожидаю гостей.
Ожиданье берет нас измором.
Ты — ко мне на свиданье,
а я уже — в списках убитых.
Бьется в жадном, поспешном бокале
лед,
    взятый из морга...
Чего же ты ждешь?
        Я дверь оставляю открытой
для тебя.
И для них.
Льдистый свет в моей комнате
                                        черной,

твое тело — земля,
        это время разбрасывать зерна,
мое тело — река,
        это ночь наступленья потопа,
слышишь топот
апрельских дождей?
        Освежающий топот.
Типографский рабочий —
        в ожидании первой страницы,
стены улиц пусты —
        в ожидании наших портретов,
плотник доски сшивает,
тает лед,
        свет в бокале слоится,
пахнет кедром ковчег —
в эту ночь ничему нет запретов.
Ну и что же ты медлишь?
Они уже входят в подъезд.
На минуту будь раньше:
        их ножам надоело поститься,
мое тело — река,
        я выплескиваюсь до небес,
не на уличных стенах,
а в небе
        лицо палестинца...
Ах, если бы ты успела!..

1973

Три песни на развалинах колодца

1

Я писал для камней,
для колонн развалившихся,
для жемчужин,
еще не рожденных...
Я писал и для тех,
кто пустое
переливает в порожнее
и за эту работу уносит награду.
Солнце — как труп у пещеры.
Путь загорожен, не выйти.

2

О, когда бы отчизна была у меня,
я и саван тогда бы имел.
Если были бы слезы у вас...
Нет, из вас их не выжмешь...
Что ж, начинайте облаву,
что ж, начинайте погоню,
бейте касыду в лицо!

Где же вы, бури бродячие?!
Где же ты, семя землетрясенья?
Эй, кто желает — касыду отдам за известье
о всемирном потопе!

3

Напрасно ты нежным крылом
мечтаешь вспахать
каменистую почву.
Напрасно ждешь фею —
не возникнет она из огня.
Струны сдавили шею тебе,
и звезда со скалы скатилась,
а гора провалилась в бездну.
Я тебе говорил: берегись,
тот, кто в колокол бил,
тот предаст баррикаду
и тебя вместе с ней.
Его сотовый мед — это грязь,
а колосья — мышиная шерсть...
Вся надежда твоя — на вулкан...
Вся надежда твоя — на вулкан...

1973

Карикатура на стенные часы

Мы не случайно встретились... Вполне
все выглядело правильно и веще.
Нам было страшно: и тебе, и мне.
Объединяет страх мужчин и женщин.
Они из страха делают дитя —
потом бегут из страха без оглядки.
Мы были беглецами... Не шутя.
Мгновением порядка в беспорядке.
И я сказал: переночуем тут,
в пещере, где меж нами будет камень,
где языки огня нас разведут...
А утром — в путь и друг для друга канем...
Но дерево преградное, огонь —
снег между нами, ждущими, двоими.
И ты, вобрав в голодную ладонь
все ветви, забеременела ими.
Как мое имя?— спрашиваешь ты...
Мне розу за него дала послушно
девчонка, продающая цветы...
Как мне — цветок, оно тебе не нужно...

Ты спрашиваешь о родине меня?
Бабочка, опаленная молнией,—
вот моя подружка, родина, родня...

Мы, когда голодаем, едим родину
под корабельными мачтами...
Мы, когда жаждем, пьем родину —
струями горячими.
А ты о родине спрашиваешь меня?
Бабочка хмельная на изломе молнии —
вот моя подружка, родина, родня...

1974

Газель

Посвящается Рите Бальтазар

Я замираю мертвой газелью...
Рана моя — не роза,
лицо мое — не апельсин.
Пока посланье не взорвалось, пока есть мгновенье безделья,
согласимся,
что бабочки, как ни ярки,
отличаются от почтовой марки;
что дым от сожженья поэтов старинных

идет из томов современных, невинных.
Давай согласимся, пока до взрыва есть время,
что корабля, разбившегося на почтовой марке,
незримый остов
не что иное, как остров,
что знак беды на левой щеке принцессы —
это просто
не тема для прессы,
как след от последней пули,
которой бедняк и беднячка две жизни перечеркнули.
Давай согласимся, что есть нечто
различающее, Рита, скипетр
и подсвечник.
Есть много законов древних:
женщины тонут в деревьях,
а деревья в женщинах тонут
и стонут.
Женщины в рыб погружаются,
рыбы погружаются в женщин,
и никто из них не сражается —
все только стонут.
Ах! Между песней и эхом — расстояние,
между водой и росой — расставание.
Когда тонет твоя отчизна, вдали
появляются корабли,
и появляется пядь земли,
когда уходят на дно корабли.
А ты сейчас стала словом

в странствии долгом почтовом.
Если бы ты потеряла память,
если бы ты потеряла память!..
Сейчас земля отдает свой крик самолету,
и кто-то...
Давай согласимся, что есть различие
между ударом весла и ножа...
О, Рита! Бабочка лежит, не дыша,
а на марке почтовой она хороша,
и в моей руке,
и в твоей руке.
Согласимся: мы письма писать — вдалеке
друг от друга —
устали, как птицы, коснувшись воды,
устают оставлять на небесной пустыне следы.
Все наши проекты осуществлены как один:
свершилось, Рита,— я воду пью и воздух живительный
ртом ловлю,
свершилось, Рита: придуман жасмин
и женщина, которую я люблю.
Дай мне опьяненно откинуться на зеленый луг.
Я и ты — две птицы,
то в облаке, то на водах,
по воде — круг,
в воздухе — круг,
нас окружили вода и воздух.
Давай согласимся:
нечто отличает, о Рита, воробья от пули,

и, когда становится пуля
звездой,
чем же становится Родина —
живым человеческим ульем?
Судьбой?
Ты странствуешь пулей
по этой стране,
а потом афишей висишь на стене.
Ты во времени странствуешь,
все бренное скинув,
но вернешься поэмой
или ящиком апельсинов.
А когда рассеется тьма,
и спадет роса,
и высохнут слезы,
и я останусь один,
давай согласимся — до взрыва письма,
что рана моя — не роза,
лицо мое — не апельсин.
Заминированы все письма, даже твои...
Кто мотыльку подскажет, что над бурей летит он
к беде,
кто газели покажет, как опасно ступать по воде?
Ты все еще пишешь... или
уже устала от писем?
Раньше с тобой мы ходили
вдвоем по заоблачным высям.
Если бы память ты потеряла —

ты бы меня спасла, поддержала.
Если бы ты потеряла память,
ты бы меня убила — мне так одиноко падать!
Пиши мне, пиши —
это эпистолярной смерти пора.
Ты все еще пишешь.
Видишь — рубят кедр острием топора,
чтобы поставить шлагбаум,
а дети при этом, балуясь,
утаскивают тайком
мешок с песком.
Ты пишешь еще...
А слыхала ли ты о том,
как звезду обезглавили
и поддели штыком
и гасят о губы луны
сигарету?
И вырубили сердце у кедра?
Когда красной бабочке у шлагбаума сказали: «Нет»,
она раненому передала свой цвет.
До того, Рита, как стала кровью эта пыльца,
до того, Рита, как она коснулась лица...
Вот сейчас по Каналу, Рита, крадутся суда.
А ты, словно я, на почтовой марке,—
мчишься сюда на бумажном кораблике.
Рита, ты боишься бумаги?
Пролетают суда, как зяблики,
несут бумажные флаги.

О лебедь...
Подорожала вода,
Хедив* вернулся, вернулся, Рита,
на ложе Египта.
Канал очистили от пальцев убитых солдат,
от слез Египта,
от пыли Египта,
от стихов, родившихся несколько дней назад.
Вот лик Египта грозит разорваться миной,
вот сердце Египта грозит разорваться бомбой.
А ты все пишешь,
ничто не проходит мимо.
Память — это тяжко и больно.
Ты смерть возлюбила на ложе бумажном,
тебе ненавистно, Рита, тонуть.
Давай признаемся и честно скажем,
что мой с твоим пересекся путь.
Не было визы в руке моей,
не было визы в руке твоей.
Я не хотел ни капли чернил от тебя,
не хотел ни строчки стихов от тебя.
Рита, сквозь стены я странствую до сих пор,
всем афишам наперекор.
Я устал от писанья стихов при луне,
от писанья деревьев, словно во сне,
от писанья рек
на этой стене.
Я устал от сочиненья плакатов

и от чтенья плакатов.
Я устал от сочинения Родины
и от чтения Родины.
Есть нечто отличное в этой стене,
Рита, есть нечто личное в этой стране...
Есть нечто отличающее бокалы,
Рита, от кораблей.
Ты пришла, как Родина,
и тебя было мало,
как мало Родины всей.
Далекая, словно на марке почтовой, страна,
река, что в бутылку заключена...
Давай признаемся: мы устали вести нашим письмам счет,
признаемся: этот век,
этот отель, забронированный на целый год,—
не наш век.
И эта поэзия вовсе не наша.
И все, что пришло из Книги Воды,
нас не касается...
Против нас новостей миллион,
и в справочнике любого туриста
адресов наших нет.
Каждый в нас, как в газеты, одет.
Аккуратно и чисто.
В нас гуляют люди живые,
а потом бросают на мостовые.
Согласимся же до взрыва письма:

собирает подсвечник бабочек, как сувениры,
собирает море всю рыбу, как сувениры.
А ты собрала почтовые марки сама
и приклеила их на тело, как карту —
карту живого мира.

1974

Волк

Что это — или кажется мне:
апельсин, как часы, стучит на стене?
А письмо мое — пустилось в бега
и упало в руку врага.
Ты поэзией искушала меня с колыбели,
и я устремился на крик газели.
Звезда — волк, небеса — волчий глаз.
Пиши, пиши признанье мое сейчас:
я не устал еще, не устал,
однако я видел, и я узнал.
Я был первым из тех, кто звезду предрек,
когда капелькой крови был этот рок.
Пиши признанье: я не устал,
однако я видел, и я узнал.

Когда река становится шеей удавленника,
когда колодец становится волком,
тысячу раз апельсин простучит издалека,
и в лапы врага письмо дотащат
волоком.

О Родина!
Подсвечник — еще не петух,
и глаз поэта гонимого —
еще не камень в оправу,
я приближаюсь и вижу:
огонь еще не потух
и кружится, кружится мир,
и это мне не по нраву.
И всякий раз, как избавлюсь,
и всякий раз, как избавлю,
и всякий раз, как избавлю
мотылька от подсвечника женщины,
которую я люблю,
мне бывает душа кого-то из павших завещана,
цветами, и пулей, и гимном
его я молча славлю.

1975

Фортепьяно

Спустилась ты с моей руки поэмой
в просторы моря — новый мой корабль.
Море — старый любовник,
сколько судов разбилось на его ложе!
Море — старый поэт,
сколько планет
разбилось на его ложе.
А ты всю жизнь ищешь корабль и героя.
Моя рука — корабль, к которому однажды ночной порою
ты пририсуешь длинные ресницы...
Моя поэма коротка.
Вот уже ловят последнего мотылька.
Удар весла — не удар меча, не гибнет от него волна,
и звезда никогда не была туберкулезом больна,
и луна от стенокардии не погибала.
Пусть по своему руслу бежит эта река,
а жизнь — до своего предела.
Моя кровь — не газель, что уселась к тебе на ладонь,
моя кровь — разливающийся по твоим жилам огонь...
Ты, приближаясь, принимаешь облик моря.
Матросы, тертые в морях и тертых по́ртах,
на судах тертых,
на тертых берегах,
на тертых женщинах,—
вот признание поэзии в заговоре,

вот признание поэзией ее имени.
Пусть же по своему руслу бежит эта река.
Пусть повторяется не эхо, голос земли.
Пусть попираются песок, травы и корабли —
не берег, не родина.
Вот — признание поэзией ее имени...
Ты спи на моей ладони.
Линия твоего стана —
фортепьяно,
ждущее взрыва.
На него присела ласточка игриво
и полетела...
Я услышал музыку твоей крови, твоего тела.
Пошел за ней. До меня донесся голос:
«Поднимись
на́ гору, ввысь!»
А ты ищешь корабль и героя.
Так хрупки эти веточки, что в крови моей растут...
К самоубийству меня ведут.
Я услышал музыку твоей крови.
Пошел за ней. Что она значит?
До меня донесся голос:
«Когда идут дожди,
деревья клонятся и плачут...»
Ты — та, что учила звезды писать,
ты — небо, и всякий, кто здесь прошел
прежде, чем я тебя обрел,
был только облаком.

Когда я пришел, ладонь моя поэмой не была
и кораблем она быть не могла,
я не был ни странником, ни хозяином очага.
Губы были просто губы,
и в руке — рука...
Я услышал музыку твоей крови
и был первым из тех, кто увидел тебя вдруг,
ненароком.
Ты была первой из женщин, пощаженных суровым
роком.
Как же крутились все эти тертые кольца
на тертых пальцах, спрашиваю я?
Это же признание поэзии в заговоре!
Это — исповедь моя.
Сейчас они окружили меня,
сейчас они ловят последнего мотылька.
Поэма моя коротка.
Пусть течет по своему руслу эта река.
Голодные матросы едят голодных чаек,
берега бастовать не кончают.
А ты — поэма, протащенная контрабандой
из моей ладони в мою кровь.
Ты из крови моей в море
контрабандным судном спускаешься вновь и вновь.
Тело твое — фортепьяно.
Что ты ищешь так рьяно:
подсвечник или руку мужскую,
скипетр или раковину морскую?

Я — странник, что увидел тебя... Ах!
Ладони твои — у моря на устах.
Из дождя не построить хижины... Напрасный труд!
Странники в жены себе деревья не берут.

1975

Аттила Йожеф*

Йожеф Аттила,
Аттила Йожеф.
Вот мы снова вместе,
шагаем рядом,
любим одну женщину.
Она, красивая и земная,
танцует на водах Дуная.
Танцует, тая,
поет, тая,
и плачет, тая,
в руках ее солнце тает,
словно мыльный пузырь.
Йожеф Аттила,
Аттила Йожеф,
каждый вечер женщина эта,
обжигая свои ладони,
варит похлебку для бедных,

учит двух воробьишек летать
от Будапешта до Варшавы...
Как далека Москва!
О! Как близка Москва!

Йожеф Аттила,
Аттила Йожеф,
вот мы снова вместе —
на каждой станции,
в каждом поезде
спрашиваем какого-то пассажира
о женщине, превратившейся в кресло,
о пичужке, которая продавала газеты
и вдруг исчезла...
Снег падал — и растаял.
Аттила Йожеф,
Йожеф Аттила,
вот мы снова вместе.
Дунай, друг бедняков, нас встречает.
Дождь прячет в крыльях чаек
голоса поэтов...
Вот мы снова вместе,
изгнанники, вернувшиеся на белый свет.
У кого нет Родины,
у того и господа нет,
нет матери и отца.
Третий день догорел до конца —

а у нас продолжается ночь.
Справедливое время придет через мост,
крошки бросая рыбам речным.
Набит поэзией рот его.

Йожеф Аттила,
Аттила Йожеф!
Вот и четвертый день прошел,
как мы не ели с тобой ни черта!
У статуй на наших улицах
полны цветов уста!

1976

Телеграмма в Тель-Заатар*

Тель-Заатар!
Стена твоя для поэта —
словно газета.
Граната в твоей руке —
взрывом в моей строке.
Простоволосы
женщины всей земли —

распустили косы,
в знамя твое вплели.

Тель-Заатар!
Все родники, все деревья в лесах —
заколками в волосах
женщин твоих.
Каждый мой стих
миной стал
у входа в Тель-Заатар.
Жилы набухшие старых вояк —
ремешки на твоих башмаках.
Птицы, рыбы, плоды —
дары земли и воды
бомбами стали
в Тель-Заатаре.

Разрастается рана,
которую нам нанесли.
Рана сплошная — тело моей земли.
Строки мои звучали
на склонах Касталя,
на склонах горы Кармель —
для родной моей Газы
я, болью сгорая, пел.

Дети Тель-Заатара
на баррикадах стоят,
охраняют мосты.
Дети Тель-Заатара
держат в руках цветы...

Родина — белый плакат на стене.
Родина — в жилах моих, во мне.
Родина как рубашка на теле,
прирастает, едва надели.
Не я пишу об отчизне —
родина пишет мной!
Мой стих — телеграмма родины.
Адрес — весь шар земной.

Ты в моих венах бьешься стихом,
руки твои — стволы орудий, пламя и гром,
а звезда — словно родинка на запястье твоем.
Голубь из каждой груди летит
в Тель-Заатар,
и мотылек — погляди! — летит
в Тель-Заатар.

В Тель-Заатаре свечи горят,
рядом — пороховой заряд.

Песни мои, мои стихи,
каждый сустав моей руки —
телеграммой гремящей стали
в Тель-Заатаре!

1976

Газель Синнина*

Х о р:
Пала вода в бою — ведет сраженье роса.
Эхо еще в строю, хоть замерли голоса.
А ты меж водой и росой,
меж голосом и немотой
летишь теперь мотыльком в бескрайние небеса.

Ты идешь в окоп,
оставляя кровавый след,
идешь, чтобы превратиться в плакат.
Ты идешь в окоп,
возложив на себя венок,
идешь, чтобы превратиться в портрет.
Ждет печатный станок,
бумага и краски ждут.

Газель с Синнина сейчас
в типографию принесут...

Ты идешь в окоп,
провожаемый лилиями и гулом хвалы,
идешь, оставляя кровавый след.
Имя твое — Абу Халед.
Ушел с одним цветком в руке,
с одним лишь словом на языке.
И там, и тут — только красный цвет.

Почему же на типографском станке
отпечатали твой разноцветный портрет,
Абу Халед?
Эбеновый ствол в Судане убит,
и в женском чреве газель еще спит,
в Тель-Заатаре.
Двумя ладонями рассек ты чрево,
и на водяные капли оно распалось,
а ладони срослись с табачным листом,
ожидающим спички...
Кто в силах говорить — говори!
Кто в силах кричать — кричи!
Павшие стали поэтами,
в воду вернулась
газель водяная.

Сложенные ковшом ладони
стали кувшинкою водяною,
а ты возвратился на стену плакатом.

Ты идешь в окоп,
уже готово ложе твое земляное,
плотник вколачивает твои пальцы
гвоздями в ларь погребальный,
и воет сирена санитарной машины.
Газель несут на носилках,
сирена воет не переставая...
Весло несут на плечах
и опускают в лодку.
Процессия тронулась.
Ушел ты с одним цветком в руке,
с одним лишь словом на языке.
И там, и тут — только красный цвет.
Почему же на типографском станке
отпечатали твой многоцветный портрет?

Ты идешь в окоп —
еще один гость появляется в доме павших,
новые жертвы за трапезой прежних жертв возлежат.
Плакат на плакате,
плакат на плакат,
на плакат —

ах, спалить бы их все подряд!
Ты пал молодым — они стать тебе старым велят.
Крутится ротационный вал.
Ты новой газелью стал.
Ты превратился в портрет на стене,
превратился в цветной плакат...

Х о р:
Пала вода в бою — ведет сраженье роса.
Эхо еще в строю, хоть замерли голоса.
А ты меж водой и росой,
меж голосом и немотой
газелью теперь летишь в бескрайние небеса...

1976

Бейрут позади

Счастлив поэт в аэропорту.
Счастлив читатель в аэропорту.
Был безопасен путь сюда,
к трапу, где стоит самолет
иностранный.
И все — о'кей.

И только мешок с песком
один
напоминает — это Бейрут.
Бейрут
не гибнет и не живет,
читает газетную статью:
справа — убитый,
слева — мертвец.
Газета читается — жизнь идет.
Счастлив поэт,
доволен читатель —
скоро отправится самолет.
А этот жалкий мешок с песком
не будет мозолить глаза.
И однако Бейрут живет
и умирает
в своих стенах.

Горький город.
Пули. Хлеб.
Вино. Развалины. Облака.
Лодка, гниющая на мели.
Запястья в наручниках.
Интервал
между трупами. И мишень.
Изрешеченная доска.
Афиша, исхлестанная дождем.

Длинные пальцы твои дрожат
над клавишами ночей и дней.
И птица весенняя парит
над руинами.
Взрывы бомб.
Газету печатает кровь. И боль.
Газету читает ночь. И смерть.
Тем временем в аэропорту
читатель доволен, счастлив поэт.
И стюардесса раздает
посадочные талоны. Ура!

Тысяча метров.
Бейрут позади.
Как хорошо!
Бейрут позади.
Можно газету почитать.
В Бейруте налаживается жизнь.
Как приятно!
И все — о'кей.
Довольны все.
Бейрут позади...

1976

Шестьдесят звезд на моих устах

Все вокруг
запорошено снегом.
Зимний дворец
растворился в ночи.
Керенский вопит
в рупор шляпы своей.
Поздно уже, кричи не кричи —
свершилось!..
Как хлеб горячий,
выносят из типографии
первый декрет большевистский,
подписанный Лениным.
Ветер воет
над морем вспененным.
Петроград — в ожидании.
В руке его стынет меч.
Ночь бела.
Пшеница бела.
Волк
бел.
Революция — не игра в разноцветье.
Выбор
предопределило столетье.
Волки в Зимнем —
в смятенье и страхе,

и это — навек.
Идет человек.
С головы до пят — весь в пшенице.
Колосья — его оружие.
За спиной у него —
лебединые крылья,
и голос, как лебедь, взлетает над стужею:
　　«Марш, марш, вперед,
　　рабочий народ!»
Маяковский,
товарищ мой
по штыку и перу,
всею душой,
устремленной к добру,
ты ненавидел весь этот сброд —
соглашателей и приспособленцев
в шитых золотом
старых лоскутьях.
Продажность —
вот суть их!
Где они были,
трусливые твари,
когда коммунисты
гибли в пожаре?
Разматывается
истории свиток:
геенна застенков тюремных и пыток —
позади,

годы засухи и саранчи —
позади,
годы сомнений, раздумий в ночи —
позади.
Мы сохранили, поэты,
и стихи свои —
и партбилеты.
Во всех столицах,
где власть чистогана
незыблема, за гроши
меня и друзей продавали
издатели-торгаши.
Лишь ты, столица жизни самой,
Москва,
всегда и везде
на помощь нам приходила в беде.
Отсвет твой — на щеке моей родины,
в танце феллахов на площади в Наблусе,
на баррикаде в Газе —
День Земли* я праздную вместе с ними.
Твой голос пророчий —
в листовке,
которую прячет рабочий
в Иерусалиме.
Ленин!
От имени твоего
врагам я бросаю вызов —
и мир беру в секунданты.

Здесь, на Красной площади,
где отбивают куранты
будущего часы,
шестьдесят звезд у меня на устах —
и все шестьдесят
взывают:
«Ни шагу назад!
Ни шагу назад!»

1976

Наша земля

На родине
для меня
приготовлен капкан.
Но спрятано в рощах
наше оружье,
луна размножает листовки,
звезда Галилеи
дрожит
над ветвями смоковниц,
где притаились бойцы.
Сердце стучит,
как печатный станок,—

для тебя,
древо Иерусалима,
для вас,
мои братья.
Взгляните,
взлетают листовки,
снуют воробьи,
извиваются улицы,
окна плывут —
и все движется
перед глазами,
словно печатная вязь.
И ладони мои
прикасаются
к географической карте,
и на клочке
меж Наблусом и Иерихоном
пишутся эти стихи.

На родине
для меня
приготовлен капкан.
Там даже камни стоят,
как солдаты,—
по стойке «смирно»,
и слепые винтовки
молча нацелены людям

прямо в сердца,
и почва дрожит
в ожидании тайных облав,
и ладони вдов молодых —
зеркала несказанной тоски...
Руки мучеников
заслоняют горящее небо.

Мой учитель,
мир с вами,
вы нас научили читать,
и предсказывать
завтрашний день,
и понимать голоса
земли и небес.
А теперь —
мы научились
прокрадываться по ночам
мимо птиц,
виноградников,
мимо ночных мотыльков,
мимо памяти,
мимо траншей Назарета,
мимо домашних огней...
На родине
для меня
приготовлен капкан.

А в Рафахе
остался мой карандаш,
которым мальчишка из Газы
сегодня рисует
на географической карте
гору Кармель
и раскрашивает Палестину
в родные цвета.
Скоро
он будет участвовать
в первой своей забастовке.
На родине
для меня
приготовлен капкан.
Как хорошо,
что малыш из Аммана
тоже рисует
на карте
лицо Палестины
и школьники,
дети ливанского Юга,
рисуют меня:
птица — на левом плече,
а в правой руке —
готовая к бою граната.
А в Ливане
сегодня мелют зерно,
из которого будет

выпечен хлеб
для детей
нашей земли.
На родине
для меня
приготовлен капкан.
Мальчик из Газы
рисует кедр —
древо Иерусалима,
где птицы дрожат на ветвях.
Малыш вырастает,
готовится
к первой своей забастовке.
И я
движусь навстречу ему
и несу ему
книги свои,
и старые карандаши,
и фотографию матери
у дома,
где я родился.
Я иду,
я иду,
я иду
к нему — чтоб рассказать,
о чем стонут деревья,
о чем совещаются камни,
о чем возвещает луна,

о чем помнят улицы наши,
о чем
молча кричат осыпи старых траншей...

1976

Станция

Не знаю я, отправиться ль мне в путь?
Взглянуть и плюнуть бы на все пейзажи
с площадок погребальных. Был я даже
на всех назойливых похоронах,
обувши ноги в старые газеты.
И проданы, и выпиты все вина,
а для стихов — осталась лишь вода,
и умирал я на краю колодца.
А смерть была лишь поводом для пули,
работодателем для почтальонов
и поводом для ярких фотовспышек...
Над головой моей луны излишек,
под головой — подушка из камней.

Пусть успокоится немой певец.
Пришла пора со свистом падать камню.

Пришла пора дождю посеять капли.
И только голова моя — истец.
Река моя лежит, раскинув ляжки,
и к ней идет земля походкой тяжкой.
Вот повод для так долго ждавшей пули,
вот повод для цветов, так долго ждавших,
вот повод
Газе с Яффой переспать.
Вот повод для отчизны распродать
все весла с палубы гнилого судна...
Все поводы грязны, но неподсудны.

1977

Нефертити

Вот конь крылатый
встает из бездны вод
с солдатской каской на крыле —
она слетает нá берег
и мрачно
блестит, словно заброшенная лодка...

Большая пирамида — не отель,
а древний сфинкс —
не клерк бюро прогнозов,
не бодрый диктор теленовостей,
не лжепоэт,
творец доходных рифм.
Мне видится в забвенье вечный Нил...
В станок печатный собственное тело
я превратил.
Огромными часами,
курантами над площадью взметнулся,
взметнулся вольной птицей над Каиром —
на улицы его листовки сыплю.

О Нефертити,
моя соратница,—
войди в меня,
пройди сквозь клетку ребер, Нефертити,
и вынеси Египта сердце —
цветок жасмина, выросший в ладье.
Я — кедр с испепеленных берегов.
Я — дождь,
что лил на головы казненных.
Я был веслом,
а стал бумагой,
в станок печатный тело превратив.
Решай,

останешься ли ты?
О ласточка! Не улетай!
Останься!

Морская чайка, с лотоса взлетев,
уходит ввысь,
сжимая в клюве кóльца,
она бросает их на лодки бунтарей.
Рабочие в гудящем Хелуане,
и докеры причалов Порт-Саида,
и солнце —
большеглазая газель,
что поит молоком Александрию,—
и все невесты Нила,
прячась в лодках,
гранаты для восстанья мастерят.
Живой Гамаль выходит из могилы,
выстраиваются винтовки в ряд —
и окна все листовками пестрят.
Душа Египта —
вечности куранты,
их стрелки, словно руки, обнимают
страну родную...

Вот сейчас, сейчас
из каждого цветка,

из птичьей клетки,
из наскоро засыпанных могил
солдаты выйдут.
Эй, парашютисты!
Скорей сюда,
вот видите — дворец!
Вот Нил!
Скорей спускайтесь,
подобно лодкам, на речную гладь.
Деревья будут вам укрытьем.

Лицо мое
всплывает к звездам, что горят вдали,
я странствую в серебряной пыли,
и странницей в моей крови горячей
блуждает Нефертити.
Я сейчас
стою на древней улице Каира.
И эта улица,
где слышен волчий вой,—
чужая для меня.
И эта, где, как спички,
распродаются по дешевке
натруженные пальчики детей,—
чужая для меня.
Чужда и та,
где продают газеты,

где строки
как оскаленные зубы,
и где колонка каждая грозит
дубинкой полицейской.
И здесь, в Хан аль-Халили,
где торгуют сердцем
Египта, словно сорванным кольцом
с ноги погибшей в заточенье птицы.
И там,
где продаются гроздья слез.
все эти улицы чужие,
не мои.

Египет!
Я — прекрасный Юсеф*
во тьме темницы,
я фонтан,
закрученный в тюремную веревку.
А Нил, текущий по лицу, остер,
как лезвие меча...
Далёко Хайфа!
О, как далёко Хайфа!
Дай же мне
ладонь твою, как зеркало.
Я вижу молнию, она застыла в ранах,
на имени моем застыла.
Но поднимаюсь...
Поднимаюсь я...

Я собеседник древнего Египта,
стоящий на скале борьбы.
Зови меня
и знай, что это имя
осуждено неправедным судом.
Веками Нил на согнутой спине
несет богов, пророков,
королей,
несет, несет без стонов.
Но Нил сказал:
— Все это не мое —
ни улицы, ни эти газетенки.

Я видел хлеб на спинах бедняков —
вот улица моя.
И шейх
с расщепленною пулями гитарой
поет, непокоренный: О, темница!
О, ярость, что в груди моей клокочет,
о, дом любимой,
о, година злая,
окно мое — мой саван ненавистный...
О Родина!
О Родина моя!

Египет мой!
Ты сердце за гроши

закладываешь жадным иноземцам.
И руки, как подсвечники, сбываешь.
В Хан аль-Халили
слышал я однажды,
как переводчик говорил туристам:
— Египта вырванное сердце
гранатом пламенеет.
Ему отрезали язык за это.

Я видел лодку,
когда покинул душную темницу,
я видел —
Нил лежал куском железа
на гулкой наковальне кузнеца,
и молот бил,
и разливался Нил
от тяжких нескончаемых ударов.
Я видел,
как носил Фарид Хаддад
песок в мешках, чтоб строить баррикаду.
Я слышал песни Сайида Дервиша* —
могучий колокольный звон.
Египет видел я в песках Синая,
как крохотную баночку сурьмы,
он соком виноградным отмывал
всю в пятнах крови гильотину.

242

О, дочь Египта, как красив платок:
он плещется, как Нил.
О, дочь Египта, голубь на груди —
как родинка прекрасен.
О, как прекрасна мумия в гробу,
бессмертная,
отвергнувшая тленье...
В ветвях колючих
птицы гнезда вьют
для ангелов, как облако бесплотных.

Но камень в основанье Асуана,
и дерево граната, и газеты
на серых стенах,
и цветущий лотос,
что кормит чаек,
и дерево камфарное, и сотни
таящихся до срока деревень,
и тысячи подпольных комитетов,
и каждое весло,
кольцо,
аптечка,
и древний лист папируса —
все ждут
рождения египетской поэмы,
начертанной пером свинцовым.

1978

Поезд полуночных листовок

Это винная лавка
моего приятеля зинджа*.
А это — его рука,
подвешенная над дверью...
Ты из вчера или завтра,
воробей нахальный и рыжий?
Откуда, с какими вестями
в своих взъерошенных перьях?
Закрыты в поезде окна.
О чем же, в тоске безответной,
стакан приятеля-зинджа
звенит, содрогаясь от ветра?
Кто учит бродяг бездомных
в поездах полуночных листовок,
как пустые глазницы, окна
раскрывать для птичьих ночевок?
Для коней, летящих равниной...
О часы тоски нестерпимой!
Закрыты в поезде окна.
И разве подлей бывает?
Товарищ — в дымной касыде —
товарища убивает.

Он давним был моим другом.
Нередко, бывало, мы с ним

последней рубашкой делились
в постылой скитальческой жизни.
И разве подлей бывает?
В шумном трактирном дыме
друг твой напрочь при всех стирает
старинного друга имя
с двери стеклянной взгляда.
Дружбу и связь двух жизней —
будто бокалом об пол
в кабачке приятеля-зинджа.

О часы тоски воробьиной!
И любовь на влажной постели.
Друзья, что вагон толкали,
полегли, не дойдя до цели.
А вагон
пассажир последний
загнал в тупике по дешевке —
не глядя, предал и продал
птицам шальным для ночевки.
Приятель предал и продал,
и ты одинок нестерпимо —
как звон прощальный в касыде,
в синей касыде дыма.
А поезд в ночи растаял,
лишь кровь в темноте звенела,
словно луна золотая
среди деревянных тарелок...

Вот он, жертвенный агнец!
Его рогами когда-то
мы на стене писали
Суру Апельсина и Граната.
Вот он, жертвенный агнец!
На горьком изгойском пире
яичко с родины, помнишь,
о рог его мы разбили...

Я подарил герою соты с медом.
И налетела на уста героя
из голубой пустыни
саранча.
Вот — след от виселицы.
Вот — в могиле
смешная птица в ожерелье перьев.
Не курица, не горлица...
Лишь лапкой
устало треплет светлые венки
и полнит зоб увядшими цветами.
Все в лилиях надгробье.
Встал погибший
и на цветах из собственной могилы
открыл торговлю бойкую.
А птицу —
ту, в ожерелье, курицу —
под нож...

Ты, воробей!
Откуда ты явился
опять ко мне с бумагой и пером?
А наша типография?
Все там же?
По камерам хранения ночного
аэропорта, в тщетном ожиданьи
потерянного чемодана?..
Ты,
о Родина, которую так долго
таскал с собой я в пишущей машинке!
Скажи, как может друг
в касыде дымной
без вздоха сожаленья и сомненья
спокойно
друга лучшего
убить?

И я опять в том кабачке далеком.
Его держал приятель старый, зиндж.
Ладонь его привешена на двери.
Стучат в нее транзитные ветра —
и для любого негодяя
щедро
течет из грозди раненой вино.
Выходит зиндж багдадский с кувшинами,
он кровью гроздей наполняет их.

Где старый друг мой, зиндж?
И где голубка,
что ожерелье белое свое
искала всюду?
В дождь ушел мой друг,
и ожерелье белое пропало
там, в непроглядном мареве дождя.

Откуда, скажи на милость,
в вагон ко мне ты явился,
с паспортом заграничным
стреляный воробей?..

Между двух касыд мы с ним расстались.
На вратах очей его светилось
имя неразлучное мое.
А его ликующее имя
на струне звенящей написал я.
И теперь — повеет легкий ветер
и струну чуть тронет —
плачет дождь.

О мальчишка, весело швырявший
камни с вечереющих холмов!
Он теперь достиг луны, твой камень.

Поклянись же в поезде бездомном,
в поезде полуночных листовок,
поклянись мне грохотом колес
головою огненной газели,
в темноте несущейся по рельсам,—
что ты первым выстрелишь,
а после,
запершись в купе,
убьешь себя.

Нет, не воробьи.
Песчинки ветра
бьют в стекло, отскакивая в ночь.

Что же мне сказать? «Прощай, Ташкент!
Поезд наш, прощай. Прощай, Тимур.
Люда, апельсинами в зверинце
с жадностью кормившая слона».
А в Москве печальный Евтушенко
с пафосом прочтет по мне стихи?
Маша, вся как свежая оливка...
Стреляный приятель-воробей...
Рита, возвращайся из Манилы!
Друг наш заворачивался в письма
Риты, как в газету, напоказ,
выходя из номера...

И снова
разгорелся на ветру огонь.
Жанна, как ты ловко разломила
на свету гранат и как ты плачешь
над разбитым вдребезги бокалом
жизни, страсти, нежности моей.
Нежности моей...
Но Жанна гаснет —
вспыхивает в памяти неверной
сквозь вино и сон
Алма-Ата.
Почему ты от меня уходишь
в стук колес, в неведомую гарь?

В зеркалах отразились
то ль зеленые стены вагона,
то ли травы весенней степи.
Вот пчела вылетает из сердца
огневеющей розы заката.
А, быть может, приятеля-зинджа?
Не его ли надежной рукой —
в утро древнее веры и дружбы —
поминальной неспешною солью
был посыпан наш жертвенный агнец
в зазеркалье зеленой травы?

Помнишь,
как рогами священного агнца
мы писали кровавые клятвы
на зеленой стене в зеркалах?
Как рогами священного агнца —
не саперной походной лопаткой —
мы копали окопы надежды
в зазеркалье священной войны?

Как он будет без меня сегодня,
Таллин, проступающий во тьме?
(Лена! Не переводи мне «водка».)
С мостовой заснеженною Таллин...
Ждут танцоров с Кубы, а приходят —
сквозь вино и зáбыть —
два поэта
из сражающейся Палестины...
Как он будет, Таллин, без меня?
Не переводи мне, Лена, «водка»!
Каждый ведь из нас танцует, Лена,—
и не только, девочка, ногами —
помыслами, сердцем, головой...
Как легко и лихо с бывшим другом
мы плясали по аэропортам,
по вокзалам, странам, континентам.
Был мой друг отчаянный танцор!

Я подарил герою соты с медом.
Зачем же ты плюешь на них, герой?
На палубу я бросил голос друга,
и друг швырнул перчатку на корабль.

Я-то думал: ладонь живая...
Посмотрите, знатное дельце:
как смеется весло с размаху,
когда бьет по лицу владельца!
Он ведь был моим давним другом,
и нередко, бывало, мы с ним
последней рубашкой делились
в постылой скитальческой жизни.
Вы сейчас в электрическом лифте
подымаетесь в Грузию.
В острых
бликах солнца горы́ вершина —
словно на горизонте остров.
И касыда на горизонте —
кровь звенящая...
Слушай, гость,
не звенит ли в бумажном стакане
винограда бумажная гроздь?

О Родина,
которую так свято

ношу в машинке пишущей!
Скажи
и объясни мне, как могло случиться,
чтоб друг мой лучший
в Суре Апельсина
без тени сожаленья и сомненья
решился друга лучшего убить?

Это — винная лавка
моего приятеля, зинджа.
А это — его весло,
повешенное на двери.
Как же ты предал и продал
лодку, друзей и веру?
Песню окопного братства —
словно под горло птицу?

Чье это жаркое ржанье
в сером дыму вагона?
Это мой конь-подсвечник
воском заплыл, утомленный.
Кто учит бродяг бездомных
в поездах полуночных листовок
окна вагонов бессонных
открывать для птичьих ночевок?
Для коней, летящих равниной
сквозь огни тоски нестерпимой...

И с монотонностью круга
в памяти неотвратимо —
друг, убивающий друга
в синей касыде дыма...

1978

Сура «Юсеф Сальман»*

Я в камеру вошел.
Лежала рядом с ним
газель на сносях, головой уткнувшись
в его колени.
Юсеф Сальман
кусок рубашки оторвал,
смочил его дождем,
утер лицо газели.
И я сказал: «Да будет мир с тобой!»
Склонился и поцеловал
ее живот
и родинку нарисовал.
Увидел я корабль, что бросил якорь,
и моряков увидел —
товарищей моих.
А Юсеф Сальман

воскликнул: «Это добрый знак!»— и дал
лепешку, обернув ее в бумагу,
а на лепешке надпись: «Юсеф Сальман».
И он сказал: «Последняя лепешка —
возьми ее». И, преломив луну,
мне половину протянул.
Другую половину дал газели:
«Иди и передай мое посланье».

Уносится в пространство мотылек,
уже за облаками он.
Взметнулся к небу эвкалипт могучий
в Аддис-Абебе.
Лебедица
иракская
на голову мне села,
чернилами наполнив мой бокал.
Открыла клюв, исторгла
гранат,
крылом его разбила —
посыпались оттуда имена
товарищей моих.
О колос,
облепленный птенцами колос.
От гильотины — запах гиацинтов.
О лебедица
иракская,

я видел
Малику-палестинку — там, в Багдаде,
и — гостем Сальмана — я в Басре отдыхал.
Мне Юсеф предложил сходить
на праздник спуска корабля.
Корабль был типографией.
О лебедица
иракская,
снеси свое яйцо
в той типографии подпольной.
Да, Юсеф Сальман в камере-колодце —
прекрасный Юсеф.
Он рвет свою рубашку на бинты.
Выхаживает пальму на руках.
Кому теперь нужны все эти пальмы,
покачивающиеся на побережье?

В колодце — Юсеф.
Я — на краю колодца.
И здесь же, на краю колодца,
от бремени газель освободилась.
Читал ли ты написанное здесь?
Читал.
А видел ли начертанное здесь?
Да, видел.
Дошел ли голос до тебя?
Дошел.

Тишина.
Тишина.
Тишина.

Я вскрикнул.
Я увидел во дворе тюрьмы
охранников — они кормили псов,
и с дерева на дерево порхали
газеты, шелестя крылами.

А в Адене кричит крамола,
и ты уходишь, Юсеф Сальман,
как в первое отплытие корабль.
«Да, ухожу,— ты говоришь,—
и все уходят.
Я жду прихода пальмы,
которую ведет акула».

Шеренгой, вижу, камеры стоят,
и нет конца им.
«Как много каменных мешков,— кричу,—
и все для нас!»
Ответ его запутался в листве.
Акула на тюремный двор
втащила пальму.

Охранники кормили псов,
порхали, шелестя крылами,
газеты.

Ко мне на голову уселась лебедица,
чернилами наполнив мой бокал.
На темени лепешка — как венец.
Пойдем, газель. Но кто теперь подпишет
лепешку вместо Сальмана? Кому?
Пойдем, газель, передадим
посланье это!

1979

Памятники Москвы[1]

Падает снег,
заметая купола на Красной площади,
падает снег,
заметая московские памятники.
На всю Москву
накинута снежная шаль,

[1] Здесь и далее © Mouin Bsisou

17-238

на голове у Москвы —
                                        снежная шапка.
Но все же
                    нет у снега пишущей машинки
и нет у снега
                        своей библиотеки.

За широким московским окном
падает снег на московские памятники.
Годы идут —
наступают весны,
а памятники не тают...
И все эти годы
сыплется ложь
на Москву,
                    на московские памятники,
за которыми стоят столетия.
Пытается снег
                        соткать свои платки,
пытается снег
                        сочинить свои стихи,
но все эти годы
смеются памятники
                    на площадях Москвы,
падает снег
                    на памятник Пушкина.

Приходит зима,
　　　　　　и пытаются холод и снег
вонзить свои ножи
　　　　　　в шеи памятников.
Но приходит весна,
　　　　　　и сияет солнце,
и смеются московские окна,
и падают ледяные ножи,
и сочатся грязные ручейки
　　　　　　по пальцам памятников.
Сияет солнце —
уходит снег,
　　　　　　волоча в чемоданах холодных
черновики растаявших стихов.
Уходит снег,
　　　　　　волоча на спине свои памятники.
Но где же стихи из снега?
Где памятники из снега?
Где платки из снега?
Где ножи из снега?
Где былые поэты?
Всё в прошлом году.
А у ног вечных памятников —
　　　　　　весенние молодые цветы.

1980

Последняя субботняя ночь

Н. Б.

Ты уходишь сейчас далеко.
И цветы увядают.
Как же так?
Ты дарила мне эти цветы —
а сама ты уходишь?
Ты открыла мне окна
руками своими.
Ты руками своими
мою Родину сотворила —
а сама уезжаешь?
Как ты сделала так,
что весенние птицы
между пальцами рук моих
свили гнёзда,—
а сама уезжаешь?
Это ты превратила на небе звезду
просто в бабочку,
и каждую птицу — в бокал,
и каждую реку — вкруг шеи моей —
в ожерелье —
а сама уезжаешь?
Мне казалось,
что ты прошептала:

«Как сейчас полюбила твои глаза,
так не любила их прежде!»
Мне казалось, что ты прошептала:
«Как люблю я твои пепельные волосы,
так не любила их прежде!»
Мне казалось, что ты прошептала:
«Ты ступаешь теперь по моим зрачкам,
ты шагаешь по песне моей,
как никто никогда не шагал»,—
а сама уезжаешь?
Оставляешь меня,
на кого ты меня оставляешь?
Та птица, что когда-то звездою была,
что хрустальным бокалом была,
взметнулась и прочь улетела.

И все кончено...
Да, я знаю, все кончено... Все!
И звезда,
что любили мы вместе,
на оконном стекле,
словно бабочка, стихнет.
Я знаю, что ты покидаешь меня...
На кого ты меня покидаешь?
Вянет солнца цветок,
как подсолнух.
Ни цветов нет. Ни ветки.

Ни женщины нет.
Нет и Родины...
И воспоминания, словно волна,
гложут останки былого.
В чьих руках мне теперь поселиться —
если ты уходишь?
Уходишь!
Уходишь!..

1980

Когда прибудет гроб поэта

*На смерть Абу Сальмы**

Смерть — та же.
Место — то же.
Та же улица,
тот же вид...
Нагих изваяний ряд.
Стоят
все в той же обуви драной.
Под ноги им

саранча подстелила
утренние газеты.
Кружится стая голубей.
Круги — то шире, то уже.
Вот выставляют венки.
Тот же цветочник,
те же громкоговорители,
тот же голос громкий,
те же гимны,
та же машина палестинского
Красного
полумесяца.
Тот же гроб.
Выстроились
те же организации.
Те же лозунги.
Та же плакальщица — Умм Али*,
те же причитания и плачи,
на стене появился новый плакат-портрет,
новая лодка
в гавани Смерти,
под парусом
черно-красно-бело-зеленым*.
Похоронное шествие.
Все по той же улице
те же звуки шагов.
Тот же похоронный оркестр,
и кладбище — то же самое.

Та же яма,
тот же кладбищенский сторож
и та же пуля.
Те же три прощальных поцелуя.
В белом саване он покоится —
нет, не земле принадлежащий —
всему своему народу.
Ни разу голос его
не звучал со стены,
а сегодня стал
большой полосой газетной.
Возведен в его честь
памятник из бумаги,
строится целый дом
из надгробных стихов,
и на могилу его
возлагается орден.
Уже готовят соседи
ритуальную еду
для поминок,
стирают лживые слезы
с камня могильного.
Прочь, стихи равнодушные!
Он завернулся в корни древесные,
в подземные ручейки —
и навсегда
под их охраной.
Никто при жизни

не подарил ему
ни одной розы,
и вот
нанесли венков.
Словно гордо гарцующие кони,
выступают стихи и песни
над его
последним приютом.
Уходят —
и нет ничего.
Пускай прошагают теперь
барабаны
с их оглушительным ржанием.
Прощай же, прощай!
Кровь горька, как маслина свежая,
только что с дерева.
Я покидаю тебя,
и ты покидаешь меня —
мы расстаемся.
На моей ладони —
перстень из капель воды,
на твоей ладони —
перстень из глины.
Прощай же!
Подходит цветочник,
в руках у него
венки —
как птицы несчастья.

18-238

266

Подходит
хозяин типографии,
где печатают плакаты,
руки его
испачканы красками,
их голоса — как скорбный собачий вой.
Пистолет с глушителем — на взводе.
Заряжен он пальцами
продажных,
подкупленных
стихами равнодушными
рук.
Отныне твое надгробье —
гнездо голубей.
Снова похороны.
Одного поэта отлучают
ударом камня
от груди Матери-Земли,
другого поэта отлучают
ударом кинжала.
Третьего поэта отлучают
от груди Матери-Земли,
засыпая его землей.

1980

Фаиз Ахмад Фаиз*

Как этот бокал,
неспроста
отдающий тебе уста,
как эта гроздь винограда,
чье сердце — тебе награда,
как эта звезда,
что стремится
к тебе
всем сияньем своим,
пронзая ночной небосвод,
как эта белая птица,
что молнии крыльев
тебе отдает...

О лахорский олень!
О цветок, нарисованный
на мостах единенья!
Имя твое я дарую
всему, что прекрасно:
детству,
доблести,
женщине.
Имя твое я дарую

улице,
еще не проложенной,
книге,
еще не оттиснутой,
баррикадам бейрутским —
        они устоят,
        не сдадутся,
струям фонтанов
имя твое я дарую.

О лахорский олень!
Мы оба в Москве.
Окна ее —
        наши глаза отныне.
Мы оба в Москве.
Ладони ее —
        корабли для друзей,
а меч — длиннее любой реки —
        врагов настигает всюду.

Наш тост — за тебя,
        Москва, что подобна чуду,—
и за тебя, мой брат соловей.
Словно ребенок
        с игрушкой своей,

с касыдой к тебе я пришел,
Фаиз.
Прими же ее —
улыбнись!

1981

Шестнадцатая поэма

— Что ты рисуешь сейчас?
Что ты читаешь сейчас?
Что ты пишешь сейчас
на стене?
— Девочка на окне
нарисовала озеро.
Каждое утро
купаются в нем
воробьи.
Вдруг падает камень —
и вдребезги образ зеркальный,
и тонет и вязнет в тине,
воробьи разлетаются,
как осколки,
по бетонной картине.

Трое мальчишек
на побережье
лепят женщину из песка.
Едва закончили —
она отряхнулась небрежно
и побежала по морю,
только рукой помахала издалека.

Трое мальчишек
на глади потока
ваяют русалку, царицу реки...
В солнечных брызгах купаются,
мотыльки.

Еще картина:
на холсте воздушном
двое детей подвешены
за кисти рук
на бельевой веревке —
поджариваются на солнышке,
двое мальчишек с моей Родины.
Поджарятся — их подберут.

А сейчас я рисую
изображение камня

по имени Наблус,
обыкновенного парня
с головой, с руками, ногами —
по имени Наблус.
Вздергивают его на столб —
он идет,
его побивают камнями в лоб,
он идет,
живьем заколачивают в гроб,
он идет,
его обмолачивают, как сноп,
он идет.
Ноги — пароходные трубы,
руки — багры,
чайки морские — глаза.
Со лба спадают ветви волос,
и пищу берут воробьи
прямо у него изо рта.
Таков он, камень
по имени Наблус,—
таков он, парень
по имени Наблус.
Он один или двое их — какая разница?
Я пишу: ту воздушную нить,
что меж ними протянута,
не разъединить.
Вкус материнского молока — не забыть.
Губы любимой и руки любимой

также — вовеки! —
неразделимы.

И стая голубей неразделима,
порхающая в небе голубом.
Из жизни я выхватываю прямо
простые образы свои:
вот голуби, вот апельсин,
сияющая круглота.
Смешай же на палитре краски —
и ты получишь новые цвета, —
а может быть, тот тусклый цвет,
что называется бесцветным...
Бывает, у иных мазил
и кофе — пепельного цвета.
Их ужин — из сушеных мотыльков.
На что тебе их бедность?
Оранжевый давно банален.
Лиловый не годится для того,
чтоб рисовать героев павших, —
тут более свинцовый цвет уместен.
Перемешай же хорошенько краски
и нарисуй
невиданное существо:
посмотришь спереди — герой-повстанец,
а сзади — коронованный подлец.

Смешай проворных муравьев и пчел,
воробушков смешай со стаей рыбок —
получишь цвет, что полустерт и зыбок,
который называется модерн —
цвет шороха листвы синдьянов*,
цвет ржанья виршеплетов пьяных,
цвет стонов смертников
в тюремных стенах.

А эти люди
витийствуют:
«Всем апельсинам — смерть!
Долой — все розы!»
Моргают, фыркают, сопят.
А я кричу в ответ:
«Не апельсинам — смерть,
долой не розы,
а вас,
когтящих всех и сыплющих угрозы!»

— Что ты рисуешь, парень?
— Я ненавижу кубы и квадраты,
углы прямые — воплощенье
геометрических простейших истин.
И круг мне ненавистен —
тот круг, которым обвели меня,

всю жизнь я в окруженье,—
всю жизнь в меня летит
град пуль и град камней.
Я кру́гом обведен со всех сторон.
Я замкнут в круг,
который разрывает только свет
звезды далекой с Родины моей.
Я...
Я...
Я — точка в центре круга.

— Что ты рисуешь, друг?
Ответ:
— Газель.
Она вскормила воробья
простою пищей.
И вырос воробей, и возмужал,
и прежней пищи стало мало —
потребовал он Палестины всей!

Тяжелое это дело.
Даже бумага вспотела.

— Что ты рисуешь, друг?—
Раскрыт альбом.

— Попробуй угадай,
что это — настенные часы?
А может быть, попугай?

«Могучими деревьями
встают герои павшие.
Течет рекой чернильною
фантазия поэтов».

Терпеть не могу настенных часов.
Маятник влево качнется —
бьет барабан, а направо качнется —
сразу кларнет отзовется.

Плачет Маджнун оскопленный,
плачет влюбленный,
девственницей останется
Лейла* —
его избранница.

Кто я? Мятежный поэт?
Или баран, что заранее
судьбой обречен
на заклание.

Творю по себе поминания,
а завтра стану плакатом-портретом,
вывешенным на стене.

Всякое в жизни случалось,
бывал я и узником революции,
но и в ее темнице
верность хранил ей.
Нет без нее для меня свободы.

— Что ты рисуешь, друг?
— Поэты
в буфеты
упрятали
фарфоровые зеркала,
пишут,
раздетые догола:
утром — да,
а вечером — нет.

Спроси такого,
любит ли он апельсин.
Услышишь в ответ
и да, и нет.

Назови имена:
Гассан Канафани,
Абдеррахим Махмуд,
Самих аль-Касем,
Тауфик Зайяд*—
и спроси такого:
«Любишь ли их — или нет?»

И услышишь в ответ:
и да, и нет.

Качнется маятник влево и вправо,
забьет барабан, запоет кларнет,
громок, неистов.

«Любишь ли ты воробьев-отступников
или наших палестинских коммунистов?
Отвечай прямо!»

Прямого ответа нет.
Одно виляние хвостом.
«Лично я обожаю стихи в возвышенном духе».
— Пора уже, угомонитесь, мухи!
Спите,
пока вас не переловили.

— Что ты читаешь сейчас?
— Трактаты Ибн Халдуна*.
На спине своего мула
изъездил он много стран.
А вот я не могу перебраться
через реку одну-единственную —
Иордан.
Ах, только б раз услышать,
как пахнут звезды
на Родине.

— Что ты читаешь сейчас?
— Все в этом чтиве сплошная бессмыслица.
Кофе — фиалковый.
Касыда — кофейная.
Мотылек достигает луны.

— Что ты читаешь сейчас?
— Старинные «Посланья»
о деревьях, что стали ослами,
об облаках, что легли,
как подстилки на ложе,
об окнах, где упокоились
души людские.

Читаю:
«Волк забрался в лифт
и устремился ввысь».
Ввысь?
Но куда?

Приклеила к оконному стеклу
мое лицо
красавица, что, словно молоком,
белками глаз своих торгует.
Красавица? Да впрямь ли?
Нельзя ли написать попроще:
ЖЕН-ЩИ-НА.
Поэты, избирайте темы
ясней и проще.
И помните, что смерть
бывает лишь однажды.
Прочь, безразличные стихи!

— Что ты читаешь сейчас? Говори!
— Я знать хочу,
почему каждый камень в моей стране
кричит, как петух,
но с приходом зари,
а каждый петух
и нем и глух, как камень,
в моей стране?

И еще одно:
почему все окна
взмывают голубками в небо?
Слушайте же, все поэты!
Вы едите
обыкновенные апельсины,
пьете
обыкновенную воду,
вдыхаете
обыкновенный воздух,
спите
с обыкновенными женщинами,
почему же в стихах
вы напускаете
столько тумана,
почему же у вас
сплошная
небыль и невидаль?
Да вы не поэты,
вы просто стервятники
хриплоголосые!

— О чем ты пишешь сейчас?
— О том, что чиню баррикады.
Памятники высекаю.
Памятники — жертвенные бараны!
Столько жертв — и все мало.

Я учусь сейчас у павших героев
отказываться от венков намогильных,
заворачиваться в корни, а не в саван,
набирать листовки в подполье.
Я учусь,
как направлять
паруса против ветра.

Я пишу
о том, что камнями кормлю газель,
о том, что мои колокола —
апельсины.

Я пишу
о том, что столица моей Палестины —
просто женщина,
вынашивающая ребенка,
о том, что столица моей Палестины —
звезда,
укутанная в свивальник.
Путь к столице моей Палестины
шаг за шагом пролагают федаины,
столица моей Палестины —
уста,
к которым прильнет лишь один из ста.

19-238

Я пишу
о самом узком из окон —
о горле.
Читаю надпись
на самом крутом
склоне горном.
Рисую
самое неизобразимое —
Мертвое море.
А сам размышляю о том,
что такое стихи:
деревня ли в зелени,
руины ли древнего города,
газель быстроногая,
горлица в ожерелье,
а может быть, просто девица?

Я пишу
о том,
что время бодливых голов
отошло безвозвратно,
кануло в прошлое,
о том, что всякие споры
при дележе пирога
не стоят и пыльного камня,
валяющегося на дороге,

того галилейского камня,
где, было время, ступала нога —
знаете сами, чья...

1981

Потоп

Открытое письмо в крепость Шкейф

Глаза наших детей —
пуговицы ваших рубашек.
Пальцы наших детей —
ваши ложки.
Хлебайте свои чернила,
жуйте бумагу.
Башенные часы
вот-вот пробьют
эпоху потопа.
Смотрите,
смотрите:
капля палестинской крови
расползается час от часа,
становится кораблем,
заполняет весь горизонт.

Хлебайте свои чернила,
давитесь бумагой,
развесьте на веревках
тряпье своих телеграмм.
Говорите нам что угодно,
пишите нам что угодно,
укройте свои голоса
дымовой завесой лжи,
но не смейте нас уверять,
что и вы — арабы.
О крепость Шкейф!
Не подняла ты белый флаг —
и ни камня от тебя не осталось,
ни мешка с песком.
Сражалось солнце,
и сражалась луна,
сражались корни
и скалы,
сражались деревья,
сражались морские волны в Сайде —
каждый вал — баррикада,—
сражалось
каждое окно в Набатии.
Я шлю приветы
луне и солнцу,
скалам, деревьям и волнам!

Что вы скажете детям,
когда они спросят вас:
как вы бились в одиночку,
как в одиночку погибали?
Как мужался Тир?
Как держался Дамур?
Как сражался Бейрут,
вооруженный всего лишь спичечным коробком?
Как палестинцев,
которым Ливан распахнул свою грудь,
убивали за то, что у них есть руки,
за то, что у них есть глаза,
а они не умирали?..
Что вы скажете детям,
когда они спросят вас:
как случилось, что на ваших ртах,
на ваших мечах,
на ваших сердцах
свил паутину паук?

Что вы говорите детям,
когда они спрашивают:
где же ваши самолеты,
где ваши танки?
Молчите?
Тогда я отвечу за вас:
ваши танки и самолеты —

послушные собачонки
на поводках, зажатых в руке
заокеанского дрессировщика,
который ждет последнего действия драмы.

Нет, господа,
не думайте, что спектакль закончен,
что занавес вот-вот упадет
над крепостью Шкейф.
Сейчас Бегин
дарит вам камни
крепости Шкейф,
обернутые пеленками наших детей.
Принимайте щедрый подарок,
но не забывайте,
что из этих камней
не перестанет извергаться огонь
и подниматься дым,
запечатлевая на небесах
поэму потопа.

Бейрут, июль 1982

Примечания

Асдуд — последний населенный пункт в Палестине, занятый египетской монархической армией.

Нукрат Сальман — концлагерь в королевском Ираке.

Нури Саид (1888—1958) — премьер-министр Ирака в 1930—1958 гг. (с перерывами), проводил реакционную проанглийскую политику, один из инициаторов создания организации Багдадского пакта, убит во время иракской революции 1958 г.

Багдаш — имеется в виду Халед Багдаш, генеральный секретарь сирийской компартии.

Абу Халед (Джордж Асаль) — военачальник отрядов палестинского Сопротивления, действовавших в ливанскую гражданскую войну в 1975—1976 гг. в горных районах Ливана. Героически погиб в бою.

Монтгомери Аламейнский (1887—1976) — английский фельдмаршал, с 1942 г., во время II мировой войны, командовал VIII армией в Северной Африке, одержал крупную победу над гитлеровскими войсками под эль-Аламейном в Египте. Один из инициаторов создания НАТО.

Нури Мандрис — имеется в виду Нури Саид. За свою жестокость получил прозвище Мандрис, т. е. «кровопийца».

Дьенбьенфу — в этой местности в 1954 г. вьетнамские революционные силы нанесли серьезное поражение французским колониальным войскам.

Араби-паша (Ораби-паша, 1839?—1911) — один из руководителей национально-освободительной борьбы египетского народа.

Гамаль — имеется в виду Гамаль Абдель Насер (1918—1970), египетский президент с 1956 г., основатель и руководитель организации «Свободные офицеры», подготовившей и осуществившей революционный переворот 23 июля 1952 г., сторонник сотрудничества Египта с Советским Союзом.

Сахбе Бербери — жена и соратница поэта.

Джимми Вильсон — американский негр, приговоренный к

смертной казни по обвинению в краже продуктов стоимостью в несколько долларов.

Фейруз — известная ливанская певица, исполнительница популярных песен о Палестине.

Омар (591 (581?—644) — второй «праведный халиф» в арабском мусульманском халифате, один из сподвижников пророка Мухаммеда. Его войска одержали значительные победы над византийцами и Сасанидами и завоевали многочисленные территории в Азии и Африке. Ввел мусульманское летосчисление.

Фарид — имеется в виду Фарид Хаддат, политический заключенный, умерший в тюрьме от пыток.

Хусейн — шиитский святой, внук пророка Мухаммеда, убитый под Кербелой. *Кербела* — город в Ираке, где, по преданию, находится гробница Хусейна; священный город у мусульман-шиитов.

Саладин (1138—1193) — египетский султан, знаменитый полководец.

Аль-Мутанабби — знаменитый арабский поэт (X в), живший при дворе правителя Сейф ад-Дауля в Алеппо.

Барада — река в Дамаске.

Мухаммед Али — египетский паша I пол. XIX в., государственный и военный деятель, боровшийся за независимость Египта от Османской империи и Англии, потерпевший поражение в 1840 г. в борьбе за Сирию и Палестину, после чего был вынужден вывести войска оттуда. «Маленький Мухаммед Али»— так звали алжирского солдата во французской колониальной армии XX в., посланного в Сирию с оружием в руках защищать интересы Франции и потерпевшего там поражение. Этот алжирский солдат-араб остался жить в Сирии, став сирийским феллахом.

Яиль Даян — дочь израильского генерала Моше Даяна, писательница и журналистка.

«Джим», «син»— буквы арабского алфавита, *здесь* аналог латинских «икс» и «игрек».

Мариана Пинеда — героиня одноименной драмы Федерико Гарсии Лорки.

Бармекиды (Бармакиды) — знатный персидский род, который достиг большого влияния при аббасидских халифах. Его основатель — Бармак.

Масрур — фаворит арабского халифа, герой одной из сказок «1001 ночи».

Омейяды — арабская династия халифов (VII—XI вв.).

«Цветом голубым...» — цвет флага Израиля.

Хедив — египетский вассал Османской империи.

Аттила Йожеф (1905—1937) — зачинатель революционной венгерской поэзии.

Тель-Заатар — один из районов Бейрута, в котором находился лагерь палестинских беженцев, героически оборонявшихся во время гражданской войны в Ливане 1975—1976 гг.

Синнин — гора в Ливане, где пал Абу Халед.

День Земли — ставший традиционным в 70-е годы праздник арабской солидарности с палестинским народом, возникший в результате массовых демонстраций и забастовок населения оккупированных территорий в знак протеста против политики отторжения Израилем арабских земель в Палестине, а также против расширения сети израильских поселений как на оккупированных территориях, так и на принадлежащих арабам землях в самом Израиле. Отмечается 30 марта.

Юсеф — мусульманский аналог библейского Иосифа.

Сайид Дервиш — прогрессивный египетский шансонье середины XX в.

Зиндж (араб.) — негр, раб.

Сура — глава Корана. *Юсеф Сальман* — палестинский коммунист, погибший в застенках.

Абу Сальма (Абдель Керим аль-Карми) — известный палестин-

ский поэт, один из зачинателей поэзии палестинского Сопротивления, лауреат афро-азиатской премии «Лотос». Умер в Бейруте в 1980 г.

Умм Али — профессиональная плакальщица, у которой погибло трое сыновей.

«Черно-красно-бело-зеленый» — цвета флага ООП (Организации освобождения Палестины).

Фаиз Ахмад Фаиз (род. в 1911 г.) — выдающийся современный пакистанский поэт, деятель афро-азиатского писательского движения, главный редактор журнала «Лотос», лауреат Международной Ленинской премии мира (1962 г.), родился в городе Лахоре.

Синдьян — порода дерева, падуб.

Маджнун и Лейла — средневековый арабский поэт и его возлюбленная, ставшие героями известной восточной легенды и многочисленных поэм о силе любви.

Гассан Канафани, Абдеррахим Махмуд, Самих аль-Касем, Тауфик Зайяд — известные писатели палестинского Сопротивления.

Ибн Халдун — средневековый арабский философ.

Содержание

Муин Бсису

С ПАЛЕСТИНОЙ В СЕРДЦЕ

Составитель *Игорь Александрович Ермаков*

ИБ № 619

Редактор *З. В. Полякова*
Художник *А. С. Зайцев*
Художественный редактор *А. П. Купцов*
Технический редактор *Г. И. Немтинова*
Корректор *Е. В. Рудницкая*

Сдано в набор 17.03.83. Подписано в печать 29.08.83.
Формат 70x100/32. Бумага офсетная.
Гарнитура Тип Таймс. Печать офсет.
Условн. печ. л. 11,93. Уч.-изд. л. 10,02. Тираж 10000 экз.
Заказ № 238. Цена 1 р. 50 к. Изд. № 36208.

Издательство "Радуга" Государственного
комитета СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Москва, 119021, Зубовский бульвар, 17.

Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате
Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Можайск, 143200, ул. Мира, 93.








1 р. 50 к.




МУИН БСИСУ